

СИБИРИАДА

МИХАИЛ
ТАРКОВСКИЙ



Енисей,
отпустить!

Сибиряда

Михаил Тарковский
Енисей, отпусти! (сборник)

«ВЕЧЕ»

2018

Тарковский М. А.

Енисей, отпусти! (сборник) / М. А. Тарковский — «ВЕЧЕ»,
2018 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7187-2

Уникальность этой книги писателя с Енисея в том, что на ее страницах собраны рассказы, повести и очерки, написанные как в конце прошлого столетия, так и совершенно новые, такие как школьная повесть «Полет совы» или очерки о подвижниках малых городов. Четверть века ведет писатель летопись сибирской жизни, длит свою Сибириаду от промхозных советских времен до наших дней, ставших воистину испытанием для тех, кому дороги вековый уклад, столбовые дороги Отечества. Писатель сам будто учится у нового времени, которое окончательно расставило все на свои места, заветом прокатившись от Балтики до Японского моря и указав единственное спасение: в способности быть русским – любить Родину, любить этих людей со всеми их несовершенствами, любить тайгу, матушку-кормилицу, любить реку – средоточье таинственных и одушевленных сил. Именно поэтому главные учителя писателя – Батюшко-Анисей, простые и удивительные люди, живущие на его берегах, таких молчаливо-суровых на первый взгляд, и с такой щедростью открывающих красоту терпеливому и зоркому оку.

ISBN 978-5-4484-7187-2

© Тарковский М. А., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Рассказы	6
Бабушкин внук	6
Таня	12
Ледоход	15
Васька	19
Осень	25
Повести	30
Стройка бани	30
Фундамент	52
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Михаил Тарковский

Енисей, отпусти!

© Тарковский М.А., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

* * *

Рассказы

Бабушкин внук

1

Створами называют судовые знаки: два щита на берегу – один над другим. По ним судно выдерживает курс. Створы сошлись – значит, идешь правильно...

Пожалуй, всем самым главным в своей судьбе я обязан бабушке, под надзором которой прошла главная часть моего детства. Бабушка сыграла определяющее значение в выборе первой профессии, да и весь мой дальнейший жизненный фарватер прошел в ее створе. Речь идет о бабушке по матери Марии Ивановне Вишняковой.

Я родился в 1958 году в Замоскворечье – старинном уголке Москвы, где среди каменных домов неожиданно начиналась вдруг деревенская улица с избами, шепелявила пенной водой ржавая колонка и корни тополей мощно взламывали хилый пересохший асфальт.

Бабушка заложила во мне основы, открыв три двери: в русскую природу, в русскую литературу, в Православный храм.

Она избородила со мной всю среднюю Россию, где почти каждое место было ей чем-то дорого. Бабушкин брат жил в Солнечногорске, в семье Ивана Николаевича Крупина, заведующего хирургическим отделением. Мы часто гостили у них, и бабушка очень дружила с женой Крупина – Фелицатой Евгеньевной. Я был в классе первом или втором, когда Фелицата Евгеньевна подарила мне книгу Промптова «Птицы в природе». «Чтобы ты смог лучше узнать наших птиц...» – написала она на титуле. Книга была мне подарена неспроста – бабушка часто говорила о том, что, когда вырасту, я выучусь на зоолога и буду жить в лесу. Осознанно или нет, она целила меня на таежную жизнь, много рассказывала про Енисей, куда она в свое время отправила в экспедицию своего сына, а моего дядьку, знаменитого режиссера, очень живого, обаятельного и оригинального человека – автора необыкновенно странных и пронзительных фильмов, один из которых я до сих пор смотрю, еле сдерживая слезы, поскольку там живьем снята бабушка.

Бабушка была далека от лесных наук и скорее принадлежала к науке словесной – работала корректором в типографии, а в юности писала стихи и училась на литературных курсах. Можно только гадать, почему она так стремилась сплавить внука в леса. Будто пыталась отдалить от московского мира искусства, хотя и не говоря напрямую, что он какой-то особо «гнилой» и его нужно бежать.

С книгой Промптова я не расставался долгие годы. Вооружившись подзорной трубой, я бродил по лесам или полям, пытаюсь определить всех попавшихся на глаза птиц. Это была своя охота, свой азарт – пернатые средней полосы существовали с самого моего детства в виде голосов. Предстояло добавить к ним внешний вид, и самое главное – имена. Было в этом какое-то приведение мира в порядок. Позже бабушка устроила меня в кружок Московского Общества Испытателей Природы при Зоологическом музее. С этого момента началась моя мечта о Сибири.

Бабушка открыла мне Подмоскovie, Оку, Волгу, Калужскую область, где были ее родовые места. Одно лето мы прожили в Оптиной пустыни, там бабушка подсунула мне (четверокласснику!) «Братьев Карамазовых». Любимым героем ее был Алеша. Мы ходили в скит, и бабушка рассказывала об Алеше и старце Зосиме, как о живых людях. Из «Карамазовых»

я запомнил свой трепет в страшной истории со Смердяковым, «пестиком» и убийством старика, диалоги между Дмитрием и Грушенькой во время гулянки в Мокром и знаменитые «клейкие листочки».

Незадолго до этого мы жили на берегу Оки в деревне и бабушка каждый вечер читала мне перед сном «Войну и мир». Мое детское знакомство с русской литературой началось с двух великих книг. Не забуду мужество и прямоту, с какими бабушка не побоялась на меня их обрушить.

Она тонко чувствовала природу, вообще... места. Было у нее какое-то чувство русского пространства. Это географическое ощущение России она передала и мне. На стенах у нас висели карты, и помню, приболев гриппом, я разглядывал их часами. В ту пору государство печатало огромное количество прекрасных книг о природе. Это были и переводные книги, например, «Маленькие дикари» Сэтона Томпсона, а самое главное, книги Федосеева, Бианки, Пришвина, Астафьева. Я зачитывался ими и бредил тайгой, Сибирью и Дальним Востоком. Особенно хорошо запомнил Федосеева «Смерть меня подождет» и «В тисках Джугдыра» с фотографиями собак – Бойки и Кучума.

Наряду с Толстым и Достоевским бабушка дарила мне Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гумилева. Попадется ей под руку биография Пушкина – она читает ее вслух. Однажды целый кусок нашей с ней жизни прошел под такую книгу, помню, как бабушка переживала гибель Пушкина, как особенно ее трогало, что он попросил моченой морошки перед смертью. Что-то огромное всегда перевязывалось у нее с какой-то родной русской деталью.

Так же обстояло с Гоголем, Тургеневым, Чеховым. Гениальный рассказ «Каштанка» был ее любимым. За Чехова она усадила меня в Кинешме, где жила ее родственница. Из этой книги я запомнил рассказ «Злой мальчик» и «Драму на охоте». Последняя история вызвала то же смутное и тревожное чувство, что и детективная интрига в «Карамазовых». Скептическое отношение Чехова к «автору» «Драмы» я не заметил, все приняв за чистую монету.

Про Бунина бабушка мне ничего не говорила: то ли он ее не интересовал, то ли стерегла от любовной темы. И то, и другое сомнительно – если ей что-то нравилось, она не могла сдержаться и не поделиться. Так же как не могли ей не понравиться какие-нибудь «Антоновские яблоки». Скорее всего, Бунина тогда еще не особо печатали. Кстати, как и Набокова, очень известный портрет которого я хорошо помню – откуда он взялся, сказать не могу. Знаю только, что человек на портрете запомнился как раз своей необычной и старинной фамилией. Образ с портрета из детства никак не связался с писателем Набоковым, о котором я узнал гораздо позже.

Конечно, читал я и Короленко, и Горького, и Гиляровского... И еще огромное количество сочинений, включая книги про рыцарей, индейцев и пиратов и всевозможные путешествия. В обороте в ту пору было огромное количество русских и переводных книг. Читать было принято.

Бабушка заставляла меня изучать книги из школьной программы заранее, чтобы не испортить впечатления школьной трактовкой. Учился я, надо сказать, так себе, успевал только там, где было интересно, а по большей части зевал и мечтал о чем-нибудь своем. Например, как мы летом поедem в деревню и как я буду делать свистки из липы, ловить рыбу и лепить танковые армии из глины. Учительница литературы говорила: «Эх, Тарковский, умная у тебя голова, да дураку досталась». Что это значит, я не понимал. Как это так: если голова умная, то какой же я дурак? По литературе я тоже особо не отличался, сочинения писал плохо – на свободные темы еще куда ни шло, а там, где надо было формулировать мысли-позиции, анализировать характер и поступки героев, плоховал. Помню свое бессилие на экзаменах – идут минуты, бросает в жар, а я ни слова не могу выдать из бессильных мозгов. Так же потел и на приемных экзаменах в университет. Тема была что-то там про «устой фамусовского общества». Вымучил

трояк. Какое-то выражение даже придумал, что, дескать, в фамусовском обществе девиз: «Все для денег, все для карьеры». Казалось, очень оригинально.

Школьный выпускной экзамен еще помню. Билет достался: «Жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова». Или что-то около. В общем, «эволюция жизненных взглядов героев» ли, «диалектика души» ихняя... То же бессилье, отсутствие мыслей, мученье, попытка внутри парты подглядеть в шпаргалку, мелко написанную на бумажке. И наводящие вопросы учительницы о небе Аустерлица и старом дубе. Совершенно ничего не мог сказать, хотя к тому времени уже «Войну и мир» перечитал – просто не понимал, о чем даже речь...

Важным событием была поездка до Астрахани по Волге, и образ этой реки (пароходный, бурлацкий, человеческий) навсегда перевязался с памятью о бабушке. Особенно запомнился Нижний (тогда Горький), наши хождения по нему, посещение «Дома Пешковых», бабушкины рассказы о детстве Алеши. Фраза про «мядаль не шее» запомнилась на всю жизнь. Горького бабушка почему-то тоже любила.

Казалось, она знакомит меня с чем-то, давно знакомым ей самой. Но, думаю, многие вещи она «проходила» вместе со мной, «за компанию», рука в руку... Низовские волжские города, такие как Саратов, Астрахань, она, скорее всего, видела впервые.

С нами ехал высокий и бородатый пожилой человек с внуком, тоже высоким мальчиком лет четырнадцати с чутким и немного беззащитным лицом. Что-то в нем было от послушника. Бабушка считала, что это семья священника, и наблюдала за ними с огромным интересом и теплом. Возмутилась, когда кто-то из пассажиров (пожилой военный) сказал, что «дед какой-то поповатый».

Помню поход с бабушкой в Новодевичий монастырь на Пасху... Ноту этих праздничных дней я годы спустя открыл у Шмелева. Главным в приобщении меня к православию было, пожалуй, почти полное бабушкино молчание. Она просто брала за руку и вела туда, куда считала нужным. Самое сильное воспоминание – служба в Александро-Невской лавре в Ленинграде. Год это был, по-видимому, 72-й или 73-й, я учился в седьмом или восьмом классе. Храм был полон народу, и я помню необыкновенное чувство, которое испытал, когда запели Символ Веры (тогда для меня это был просто «какой-то» церковный напев). Пронял и напев сам по себе, и соборное нарастание-слияние множества голосов, их живое зарождение со всех сторон... Рядом на протяжении всей службы то и дело расцветал ясным побегом голос молодой женщины с летящим выражением на узком лице, с сияющими серыми глазами...

Мы шли от Зимнего дворца и рядом с каналом (не вспомню каким) увидели колонну курсантов Морского училища. Они остановились и затеяли суматоху с залезанием на парапет, в результате которой один из ребят уронил в воду фуражку. Тут же проявив и ловкость, и упорство, он полез ее доставать, причем лез довольно напряженно, понимая, что за ним наблюдает целая толпа. Фуражку он достал, ко всеобщему удовольствию.

Однажды по чьему-то совету бабушка решила свозить меня на лето на Балтийское море в Палангу. Ехали с пересадкой в Вильнюсе. Образовалось окно перед поездом, и я пошел побродить. Бабушка осталась на вокзале – почему, тоже не помню. Я как-то с детства чувствовал города и особую нюховитость проявлял к их историческим центрам. Приехав в незнакомый город, первым делам искал этот самый центр, будто по нему пытался понять главное. Возможно, это было детским желаньем оказаться в приглядном ухоженном месте. Меня интересовал вид домов, храмов, я как-то ценил-выделял именно старинные постройки. (Еще обожали с бабушкой наличники.)

Поиски городского сердца начинались с вокзала, окрестности которого обычно приглядностью не блистали. В общем, до нужного мне Старого Вильнюса я не дошел, зато набрел на православный храм. Возле него сидел на земле, вытянув единственную ногу, русский нищий. Круглое лицо, лысая голова... Я подал ему, о чем-то взялся с ним говорить, чувствуя и сострадание, и родство. Пронял меня родной его вид посреди чужого города.

Лет через семь, когда бабушки уже не было, я познакомился с Василием Дегтяревым, фотографом и замечательным человеком из старообрядцев, живших испоконно в Вильне. С женой мы поехали к нему в гости. Там я покрестился в том самом храме, где сидел одноногий нищий с прядью на лысой голове.

Из затеи с Палангой ничего не вышло. Пристанища мы не нашли, зато познакомился на берегу с русским милиционером, который очень по-доброму к нам отнесся и, напоив чаем, обрисовал картину. Объяснил, что жилье в это время занято, и еще добавил что-то такое умудренно-горькое, что, мол, ничего хорошего вы здесь не найдете, и что литовцы своеобразные, и дословно: «У них тут чуть ли не восстание было». Несолоно хлебавши мы распрощались с Балтикой. Палангу я запомнил такой: сияет солнце и крепкий ветер дерет море, наваливает колючий вал на полосу пляжа, вздувая песчаную выюгу. На обратном пути была пересадка с поезда на поезд на какой-то станции. Я по обыкновению пошел прогуляться. На перроне ко мне подошел аккуратно одетый парнишка (бархатная курточка) и спросил что-то по-литовски. Я сказал, что не понимаю. Он спросил:

– Почему не понимаешь?

Я объяснил, что русский, что не отсюда.

– Живи, где живешь! – отрезал парень. И завел, будто уже в извинение, долгую жалобу: что, пока не наехали русские, в Литве было вдоволь колбасы и молока, а как понаехали, так все и съели и ничего не стало, «совсем плохая жизнь пошла»... «Ну ладно, пока», – сказал он и попрощался за руку. Я поделился услышанным с бабушкой, и она сказала, что это «он за старшими повторяет», что они его накрутили.

Бабушкину мать звали бабушка Вера. Она была очень добрая и под конец жизни совсем слепая. От нее я часто слышал слова «Бох» и «церковь». Однажды я пришел из школы, особенно напившийся «атеизму», и заявил, скинув ранец и торжествующе глядя на прабабушку Веру Николаевну:

– А Бога нет!

2

В кружке при Зоологическом музее мы собирались по четвергам, а на выходные ездили на *выезды* в окрестности того же Солнечногорска.

Это были отличные леса в верховья Клязьмы, где можно было запросто встретить глухаря и куницу. Рядом располагались военные полигоны, и шастать здесь запрещалось. С полигонов то и дело раздавались пулеметные очереди, а по полям, меся глину, с ревом носились танки. Зверье к этому привыкло и жило припеваючи.

В маленькой деревеньке руководительница кружка Анна Петровна Разоренова снимала дом, в который мы и приезжали оравкой в пятницу вечером. С утра шли в лес на целый день на экскурсию, которую проводил кто-то из старших, чаще уже студент. Орнитологические и следопытские походы, обстановка деревни и русской природы, которую мы наблюдали во все сезоны, дружба, чай у костра, мечты о дальних экспедициях – все это захватило полностью. Город по возвращении казался скучным и чуждым.

Бабушка купила мне спальный мешок и кирзовые сапоги. Я жил от выезда до выезда.

Лесная нота моей жизни все крепла. Я уже обрастал снаряжением и мне крайне необходим был каркасный рюкзак, так называемый станок. Я то делал его из трубок от раскладушки, то загибал какую-то трубу, а она оказывалась мягкой и отыгрывала назад. Чтобы все получилось, требовалась аргоновая сварка.

Бабушку по отцовской линии звали Марией Макаровной Поповой, она происходила из тамбовских крестьян. Я виделся с ней не особо часто – она жила в подмосковном поселке Подлипки (Болшево). Ее второй муж Сергей Дмитриевич Ерошенко работал на одном из королев-

ских заводов. Дедушка Сережа меня очень любил и сварил мне по моему чертежу станок. Завод был режимным, и деду пришлось вывозить его с территории завода в мусорной машине, где-то за воротами потом встречать. У него не работала одна рука. Никогда не забуду его подвига! Рюкзак этот до сих пор висит у меня на гвозде в тайге в базовой избушке.

В восьмом классе я победил на школьной олимпиаде по биологии: досталась как раз птичья задача. Меня отправили на районную олимпиаду, а потом и на городскую, на биологический факультет МГУ. Там я также неплохо себя показал. В это время в одной из школ открывался биологический класс, и отличившихся на олимпиаде пригласили на собеседование. Я его прошел и последние два класса проучился в новой школе. Руководительница и идейная вдохновительница биологического класса Галина Анатольевна Соколова знала мои стремления поехать в экспедицию в Сибирь. Она попросила своих знакомых, а именно Светлану Александровну Шилову, чтобы меня взяли в Туву. Эта поездка все и решила. После нее Сибирью я уже бредил. Западный Саян мы переезжали на автобусе, Усинский тракт произвел ярчайшее впечатление, особенно перевал Кулумыс с девятью петлями серпантина. На одной из площадок длинный «Икарус-66» не мог развернуться и сдавал назад, освещая фарами кедровые корни на скале.

Работали мы на западе Тувы около поселка Мугур-Аксы. Осенью из-за облачности перевалы закрыли, Ан-2 не летали, и в Кызыл мы выезжали через Монголию.

В Туве я научился стрелять из дробового ружья и ездить верхом. Енисей я впервые увидел в столице Тувы, Кызыле, в июне 1974 года.

После десятого класса я провалил экзамены на биологический факультет Московского Университета и год работал лаборантом: кормил мышей и убирал за ними клетки. Делал это так себе, норовя сорваться на выходные в какой-нибудь подмосковный лес вместе с теплой компанией.

Летом я по обыкновению провалил экзамены в университет, получив тройку по химии и заплутавшись в проблемах «валетностей» хрома. Зато поднатюп в целом в сдаче экзаменов, поступил с единственной четверкой (по литературе!) в Московский пединститут имени Ленина на отделение географии и биологии. После первого курса, отпросившись с половины практики, уехал в экспедицию в Бодайбинский район Иркутской области. Это была экспедиция института ЦНИГРИ. Бодайбо – старейший золотоносный район. Моя задача была дробить молотком кварцевые жилы со вкраплениями золота и складывать образцы в мешочки. Рюкзак с мешочками я тащил к машине.

Рабочая обстановка горного Забайкалья, экспедиций, жизнь наемных геологических работяг произвела на меня сильнейшее впечатление – Сибирь открылось трудовой своей стороной.

В то время каждый второй юнец считал своим долгом сочинять кустарного род песенки, и я привез в Москву их целый пяток: одна называлась «Забайкальская осень». Пелась она от лица рабочего, оставшегося на долгую зиму в тайге и предпочетшего «злое лицо работы» отношениям с городской девушкой. При этом он настойчиво пишет ей письма, хотя в то время, как корячится на вездеходе среди чахлах лиственниц, она наслаждается городским комфортом и принимает ухаживания кавалеров. («Ты возвратилась в восемь, думая про другого».)

Зиму я ходил на лекции и готовился к летней поездке на Енисей, на базу Института имени Северцева, где работали в экспедиции мои старшие товарищи по кружку. С 1978 года начался мой Енисей. Три лета подряд, рискуя вылететь из института и опаздывая на картошки и зимние практики (умудрился поехать еще и зимой на учет птиц), я упивался Енисеем. Считался неплохим учетчиком птиц: требовалось хорошо знать голоса. Но главное – ценились рабочие качества, неутомимость, упорство – царил культ трудового героизма. Была и теплейшая студенческая компания. Там я познакомился с Натальей Моралевой, ставшей вскоре моей женой.

Однажды мы с начальником отряда уезжали с Енисея в начале октября. По берегам уже лежал сухой снежок. Ночью северное сиянье озарило звездное небо. Неудержимое желание остаться здесь жить особенно обьяло меня. Приближалось окончание учебы, и руководство экспедиции предложило нам с женой постоянную работу на Енисее. Я ликовал. Мы уехали из Москвы в декабре – очень много времени заняли сборы.

Следующей осенью у Наташи возникли срочные научные дела в Москве, и я остался на ползимы один на полубезлюдной станции. Обстановка таежного одиночества, мощная природа, грохот встающего Енисея, слышного в морозную погоду с дальних таежных увалов... Можно представить, какие ощущения я испытывал, дорвавшись до мечты. У меня было свободное время, я много читал, размышлял и начал помаленьку писать стихи, изучая стихосложение по книге «Мысль, вооруженная рифмой».

На Биостанции «Мирное» я проработал с 1981 по 1986 год. Там я познакомился с Анатолием Блюме.

В двадцати километрах от Мирного располагалась деревня Бахта, где было отделение госпромхоза и буквально кипел промысловый дух. В 1984 году туда переехал Толя, став промысловиком.

Замкнутая и тепличная обстановка научной базы и ее сугубо столичные корни, неинтерес к науке и тяга к охотничьему образу жизни привела к тому, что в 1986 году при появлении свободного места охотника я уволился из Мирного и переехал в Бахту. Пошел к Толе в напарники. Главным в этом решении было то, что я перестал вымучивать из себя будущего ученого, и занятие литературой стало моим жизненным делом.

Таня

У Тани была чистая кожа, копешка пушистых волос и щедрая улыбка, от которой прищуривались глаза и получалось выражение, будто она совершенно все понимает. Если добавить сюда мое одинокое существование, подчас изнурительную красоту Енисея и будни покоса, становится ясным, почему я так стремился в Селиваниху. Таню я увидел, когда приехал к тете Наде пилить обещанные дрова. Пилил я под угором на песочке тети-Надиной пилой. Стартер был без резиновой ручки, с примотанной вместо нее железячкой. Я ссадил ею палец и, когда заматывал его кусочком изоленты, неизвестно откуда возникла вдруг стройная девушка в яркосиней майке. Увидев мое занятие и не дав возразить, она убежала и тут же вернулась с бинтом и пузырьком перекиси водорода. Вид у меня был не самый подходящий для знакомства: мокрый от пота чуб, засаленная куртка, сизые руки и полные опилок отвороты сапог. Я наблюдал за бирюзовым жучком, ползущим по ее загорелому предплечью, а она старательно перевязывала мне палец, отфыркиваясь от комаров и болтая, как со старым знакомым. Пахло от нее какой-то ароматной комариной мазью. Она пошутила насчет моих рук, что-то вроде: «С такими руками только к женщине и подходить», и убежала по своим экспедиционным делам, а я допилил и поехал домой в Бахту.

Когда я отпихивался от берега, на угоре появилась фигурка в синей майке и помахала рукой. Я не удержался и, отъезжая, заложил крутой вираж, вывернув из-под борта валик упругой воды с белым гребешком. Пел за спиной мотор, неся мимо каменистый берег с островерхим ельником, светило солнце и всю дорогу в серебристых брызгах у кормы стояла, как приятное воспоминание, маленькая радуга. На покосе я думал о Тане и грешил перед товарищами, желая дождя, чтоб отменились работы и можно было мчаться в Селиваниху допиливать дрова. Догадливые друзья посмеивались. Дождя все не было. Мы поставили сено, взялись за силос. Запомнился последний день. Я стоял с вилами под зеленым душем в телеге, трясущейся за трактором, вдыхал пряный травяной ветер и меня всего распирало от нетерпения, потому что завтра начиналась свободная жизнь – ничего уже не маячило впереди, кроме охоты, и я ехал в Селиваниху.

Таня еще спала, когда чисто-чисто пропел зук над Енисеем, когда застрекотала пила, выпустив синее облачко, и было поначалу неловко за этот шум, будто я пилю не лиственный краж, а первую осеннюю тишину, еще в виде пробы натянутую над полузаброшенной деревней. Жилым выглядел только тети-Надин дом с синими наличниками, крашенными охрой сенями и с выкошенной вокруг травой. Три брусовых дома, построенные экспедицией, стояли среди зарослей крапивы и иван-чая казенными кубами. Заведя небольшой красный трактор, стоявший на бугре с поленом под колесом, и проезжая кухню, я увидел Таню. Она стояла на крыльце и поливала из ковшика пучок укропа. Я щегольски тормознул, вылез из кабины, поздоровался и спросил воды. Она протянула мне ковш, локтем отерев комара со лба, и, улыбнувшись, предложила пообедать. У меня вовсю колотилось сердце, но я сдержанно ответил, что обедать мне шибко некогда, но что чаю попью, если угостят. В кухне никого не было, кроме нас с Таней. Мы разговорились, Таня что-то спрашивала, об охоте, о моих друзьях, о Енисее. Умиляла городская неточность ее речи. «Дрова, Таня, не рубят, а колят», – все хотелось мне ее исправить. И еще очень хотелось вытереть локоть, который она испачкала в саже, возясь с печкой. Потом, уже сидя в тракторе, я все продолжал улыбаться, чувствуя, что не ошибся в своих предчувствиях, что наконец возникло между мной и этой почти незнакомой девушкой нечто необъяснимое, зыбкое, как те осинки в сизой струе выхлопа, но одновременно реальное и очень созвучное происходящему в природе и во мне. Я думал о том, как повезу это нечто вместе с капканами и прочей прозой на длинной деревянной лодке по притихшей сентябрьской Бахте и как славно будет вспоминать Танину улыбку, ежась от ветра и правя в просвет расступа-

ющихся мысов. Я сел на чурку и достал папиросу. Впереди лежало серебряное, в насечках ветерка, блюдо Енисея. На той стороне за темным забором ельника синела невыразимо осенней, глубокой синевой волнистая даль тайги. Всегда почему-то кажется, что осень не возникает здесь, на месте, а именно *приходит* в виде какого-то голубоватого воздуха особого качества, в котором все начинает желтеть, жухнуть, табуниться, а у человека, наряду с растущей физической бодростью, открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости к природе. И хочется, покоряясь ее тихой воле, взобраться на самый высокий яр, встать на колени и, глядя в морскую даль Енисея, благодарить небо за эту посланную Богом тоску, за каждый лист кривой березки, скоро потребляющей столько любви и прощения в своей нищете. И долго будет укладываться в душе поминальная, в желток с луком, пестрота берегов и огненная трещина в базальтово-серой туче, заложившей север, пока ранним утром глухой удар весла в тумане не поднимет на крыло первое стихотворение. Глядя в глаза, на вытянутой руке, с каким-то плясовым шиком старинного гостеприимства поднесла мне тетя Надя стопку мутного спирта, протаторив: «На-ка, на-ка, на-ка, сла-богу, все вывез, спасибо тебе, рыбку закусывай», и я еще раз порадовался бодрости этой маленькой старухи, не устающей окружать свою одинокую жизнь узором такой поэзии, которая никаким поэтам и не снилась. Вечно ей что-то чудилось, мерещилось... Как-то я строил ей новые сени и жил у нее. Был тоже август, но мы спали в полах, все не решаясь снять их.

Перед сном тетя Надя долго устраивалась, зевала, а потом вдруг рассказывала про страшного приснившегося ей мужика, с лицом, заросшим речной травой, которого она не испугалась, а спросила только, когда он вошел: «Кто вы такие?», про эвенков, приехавших зимой на оленях с котом на веревочке, про тайменя, такого большого, что, когда его подтащили к лунке, она, будучи еще девчонкой («папа зывой был»), подумала, что там «лосадь», или уже совсем анекдот про знакомую из славящегося непролазной грязью Верхнеимбатска, якобы писавшую в письме: «Надя, я не могу в Имбатске зыть: у меня ноги короткие, я с мостков оборвусь и в грязь уйду». Говорилось все это журчащим, полудетским голосом, задумчивым, как куриная песенка на склоне лета. Перед встречей с Таней мне приснилось, будто я украл из больницы фарфоровую кружку, и тетя Надя сказала, что значит будет мне «кака-то прибавка». Когда после четвертой стопки я понял, что уже не смогу не попросить у Тани адреса, тетя Надя вдруг, что-то вспомнив, вытащила из-за пупырчатого стекла буфета коробку и извлекла из нее желтую, вчетверо сложенную газетку с моими стихами, и через минуту я уже выбегал на крыльцо в раздувающийся ветер, в шорох травы и плеск Енисея, в музыку, плывущую с проходящей самоходки, не в силах удержать теплую слякоть счастья в глазах и все повторяя про себя четыре слова: «Моводец, Миса, хоросо составил!»

Адреса Таня не дала. Она посмотрела куда-то в сторону и сказала трезво-манерным голосом: «Зачем тебе адрес?» и еще что-то добавила насчет флирта, который с ней «не пройдет». Убитый наповал таким поворотом дела, словечком «флирт», так не шедшим ко всему окружающему, я спустился под угор, мусоля в кармане так и не понадобившийся карандаш и поехал домой. По серой волне, сжимая опостылевший штурвал с отбитой эмалью и спрашивая: «Ну что ей стоило? Ведь я и не написал бы никогда»...

Приехав в Бахту, я почувствовал, как стосковался по своим друзьям, и направился к Толян. Не доходя до его дома, я услышал негромкий свист, доносящийся из придорожных пихтушек. Там сидели вокруг ящика Толян, два Вовки и Степа Хохлов по кличке Картузный. На ящике стояла бутылка водки. Я бросился к ним: «Братцы!» Обида на Таню постепенно прошла. Я даже убедил себя, что сам испортил все своей жадностью – денек-то действительно был редкий. Так вот живешь-живешь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днем, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире, и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тети-Надины драго-

ценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, просквозив душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие, изредка сходящиеся, створы и ведут тебя по жизни.

Ледоход

1

Первый муж тети Нади погиб на войне. Дочка умерла. Деревню разорили во времена укрупнения: хотели целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился и все разъехались кто куда. Тетя Надя вопреки всему осталась. Второго мужа на ее глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса. В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, стала летом приезжать зоологическая экспедиция. Поселился постоянный сотрудник с семьей, тетя Надя уже зимовала не одна. Все большое и опасное у этой маленькой безбровый старушки с птичьим лицом называлось «оказией». Плотоматка (буксир с плотом) прошла близко – «самолет бы не зацепила. Сто ты – такая оказия!», «Шуки в сеть залезли – такие оказии! А сетка тонкая, как лебезиночка – всю изнахратили». Рыбачила она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «Самолет не ложила», а ставила только сеть под коргой, которую каждое утро проверяла на гребях... Туда пробиралась, не спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах. О рыбалке у нее были свои особые представления. Кто-то спросил ее, как правильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила: «Делай полегче, а потом в веревку песочек набьется и в аккурат будет». В рыбаках тетя Надя ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Ленка никудышный, не сиверный»). Зимой тетя Надя настораживала отцовский путик и ходила в тайгу проверять капканы, с рюкзаком и ружьем, с посохом в руках, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых, бродешках, в теплых штанах, фуфайке и огромных рукавицах. С приезжими у тети Нади установились свои отношения. Студентки посещали «колоритную» старушку, угощавшую их «вареньями и оладьями», дивились ее жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье в Ялutorовск, а зимой слали посылки и открытки. Тетю Надю это очень трогало, она отвечала: «Сизу пису одна как палец» и посылала кедровые орешки в мешочке, копченую стерлядку или баночку варенья. Девушки обращались к ней за советами в щекотливых делах. Тетя Надя учила: «Своим умом зыви. Музык он улична собака». Студенты мужского пола с удовольствием пили у нее бражку, закусывали жареной рыбкой, что было неплохо после дежурных макарон с редкой тушенкой, и за глаза посмеивались над «бабкой», которая не выговаривает букву «ш» и по праздникам подводит брови углем.

У тети Нади было много знакомых, но постоянно ее посещали «сродный брат» Митрофан Акимыч и Петя Петров. Митрофан – крепкий и статный старик с плаксивым голосом, всегда ездивший на новом моторе. Завидев подрулившего гостя, тетя Надя выбегала из дома и кричала ему с угора, а он кричал ей снизу, и так они перекликались, пока он не подымался, потом обнимались и шли в избу. Выпив, Митрофан становился невозможно суетливым, бегал, кричал, здоровался со всеми подряд двумя руками, спрашивал, как здоровье и ребятишки, кричал, указывая на бабу: «А это сестра моя, под обхватной кедрой родилась...», всплакивал, тут же, махнув рукой, смеялся, а когда уезжал, просил кого-нибудь завести ему мотор. Когда это делали, он влезал в лодку, хватал румпель, включал реверс и уносился на страшной скорости, размашисто крутанув указательным пальцем у лица и приложив его к губам: мол, погуляли – и молчок. Петя Петров был отличным, но насквозь запойным мужиком. С Севера он привез жену-селькупку. Они работали на почте на пару и пили тоже на пару, по поводу чего в Бахте острили: «Вот красота-то! Все пьют – все довольны. Чем не счастье?» Петя любил общение, говорил с жаром, рассказывая истории, которые, по-видимому, сам и сочинял. Любимое выражение у него было «морэ» – «Рыбы там, веришь ли, мор-р-рэ». Раз мы приехали к тете Наде

с Петей, Петя вскоре набрался, мы стали его грузить в лодку, под его же руководством, но не удержали. Он соскользнул вниз головой в воду у берега, уткнулся лысиной в гальку, и хоть его тут же подняли, мне на всю жизнь запомнились глядящие сквозь прозрачную енисейскую водицу серые глаза и медленно шевелящиеся пряди редких волос. Изредка к тете Нади приезжала погостить баба Таня, древняя сумароковская националка. Из вещей у нее была только длинная удочка и банка с червями. Говорила она хриплым голосом и все время проводила под угором, таская ельчиков, которыми тетя Надя кормила кошек. Кроме кошек тетя Надя еще держала петуха с двумя курицами, собак и лошадь Белку. В Селиванихе от прежних построек остались только заросшие крапивой ямы да гнилые оклады, но тетя Надя упрямо называла все прежними именами: интернат, звероферма, будановский дом, магазин, пекарня... Тетя Надя любила угощать. Проходишь мимо ее дома, она выскочит на крыльцо с блюдцем и кричит: «Миса-а-а! Пстой-ка, я тебя блинками угощу!» К праздникам она относилась серьезно, за несколько дней готовилась, стряпала, прибиралась в избе, приводила себя в порядок. Когда подходили гости, выскакивала на крыльцо в черной юбке, красной кофте, в крупных бусах и цветастом платке, и выкрикивала специальным высоким голосом: «Милости просим, дорогие гости, все готово!» Усаживала за стол, угощала, следила, чтоб у всех было наливо, носилась с закусками, подавала кому полотенце, кому воду, и никогда не ставила себе стула, возмущаясь: «Удди! Я хозяйка». Потом, когда по ее плану было пора, вдруг запевала частушки вроде:

Поп с печки упал
С всего размаху
Зубы выбил, нос сломал,
Разорвал рубаху!

Потом доходила очередь до песен, их она знала «морэ». Тети-Надин дом приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тонущий корабль, и жить в нем становилось опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить новый дом за счет экспедиции с условием, что он перейдет в собственность станции, а тетя Надя просто будет жить в нем до конца своих дней. Тетя Надя долго думала, решала, сомневалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было некуда. Дом строил бич Боря. Тетя Надя заботилась об одном: чтобы все в новом доме было, как в старом. Чтоб перегородка на том же месте и чтоб русская печка такая же. Когда все было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки с листьями: «Гля-ка, как я окошки украсила». Потом она расставила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены все то, что висело на стенах прежнего дома: ковер с оленями, календари, плакаты, фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и когда я приехал проводить тетю Надю, было полное ощущение, что это ее старый дом – так сумела она перенести сюда всю прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Мартимьян Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же свисал с полки кошачий хвост. Хорошо было заезжать к тете Наде после охоты. Промчишься, развернешься, заглушишь «буран» у крыльца, а она уже кричит из избы: «Заходи, заходи, дома я». И даже если она совсем тебя и не ждала, она все равно защебечет: «А я как чувствовала! Как чувствовала! А Петенька-то, Петенька, с утра ревет лихоматом! А коски-то, коски с ума сосли! Снимай, снимай, снимай, сто т-ты – мороз такой! На печку ложь. А у меня как раз хлеб свежий. Ну, садись рассказывай, как там жизнь у вас, как промыслили? Ну и слава богу, слава богу. А я тозе поохотилась. Гля, какую крысу в капкан добыла – цельный ондатр. Красота! Сейчас осниму, а летом туристам – возьмут как милые. О-о-х, и смех и грех... А у меня день розденье скоро, Юра посулился быть. Приезжайте с Толиком. В тайгу? А-а-а... Ну сто делать, надо, надо»... Юра работал бакенщиком. В нави-

гацию, проверяя бакена и створы, он часто заезжал к тете Наде и, косясь на стол, рассказывал, как в Бахте «рыбнадзоры припутали Ванюшку Деревянного» или как медведь опять разобрал створы у Соснового ручья, а она восклицала: «Ты сказы! От падина!» и наливала ему крепкой, покрашенной жженым сахаром браги. Настал день рожденья, тете Наде исполнялось семьдесят пять лет. Она встала ни свет ни заря, затопила печки, бросилась подметать, готовить стол, сбегала пригласить заведующего Колю с женой, вернулась, снова принялась хлопотать, гадая, приедет Юра один или с дочкой, и прислушиваясь ко всем звукам, доносящимся с улицы. Собаки залают, самолет пролетит, она выбежит на крыльцо с биноклем, глядит на Енисей: что там за точка, не Юра ли едет, нет – торосинка это или куст, кажется. Ладно, к обеду-то точно должен быть. Проходит день, настает вечер. Нет Юры. На столе тарелочки с закусками: брусника, грибки, соленая черемша, печеная налимыя икра, копченая селедка, блины, свежий хлеб, компот в банке. Приходят Коля с женой, приносят подарок:

– Что, нет Юры?

– Зду, зду. Все глаза проглядела. Во сне видала – долзон приехать. Петенька-то с утра, сто ты! Токо гром делат! А коски-то, коски! Ну проходите, проходите!

Уже темно, и ясно, что Юры не будет, тетя Надя говорит:

– Ну, значит, дела, дела у него. Я давеча карты разлозила – казенный дом выходит. Или «буран» сломался. Теперь уж с утра здать будем.

Так три дня тетя Надя и держала накрытый стол, выбегала на угор с биноклем, и так и не доехал до нее Юра, гулявший у соседа.

2

На угоре напротив тети-Надиного дома стоял кожаный диванчик с катера, у крыльца лежал коврик из распоротой бурановской гусеницы. Летом тетя Надя ставила рядом с диванчиком железную печку для готовки. Душными июльскими днями с синей мглой над ровным Енисеем бабка в штанах, чтобы не ел комар, все что-то варила на печке, а у дымокура подергивала шкурой и обмахивалась хвостом серая кобыла. («Ты сказы – Белку совсем заздрали».) Белку тетя Надя любила особой любовью. Это была старая, но еще здоровая лошадь, оставшаяся без работы, когда в Селиванихе появился «буран». Тетя Надя упрямо продолжала ставить сено, любые разговоры о том, чтобы продать Белку, воспринимала как оскорбление и очень оживилась, когда сломался «буран» и пришлось запрягать Белку, чтобы привести из Бахты продукты к Новому году. Как-то раз летом Белка потерялась, и тетя Надя плакала:

– Манила ее, манила. Нету-ка нигде. Наверно, медведь задрал.

Белка нашлась. Шли годы. Тетя Надя старела. Все трудней становилось ходить за Белкой, ставить сено. «Все-таки придется Белку в Бахту сдать, – привыкала бабка к этой мысли, – там она хоть работать будет, а то у меня-то совсем застоялась». В Бахте на конях возили сено с Сарчихи и Банного острова, хлеб из пекарни в магазин и воду по домам. Наконец тетя Надя решилась. За Белкой приехали с вечера на деревянной лодке с загородкой из жердей, а ранним утром ее погрузили и повезли в Бахту. Я встретил их по пути на рыбалку и несколько раз оглядывался. Подымался туман, расплывались и ломались очертания берегов, лодки видно не было и казалось, что над Енисеем висит в воздухе конь. Как-то раз сдавали мы рыбу на звероферму. Спускали в ледник тяжелые мокрые мешки. В леднике было темно и холодно, хлюпала под ногами вода. Вдруг моя нога наткнулось на что-то большое и скользкое. Это была белкина голова. Тете Наде я ничего не сказал, и она до сих пор думает, что ее Белка возит в Бахте воду.

3

Есть такой обычай: когда тронется Енисей, зачерпнуть из него воды. Ледохода все ждут, как праздника. Тетя Надя внимательно следит за каждым шагом весны. То «плисочка прилетела», то «гуси за островом гогочут, и сердце заходится»... «Анисей-то, гля-ка, подняло совсем, однако завтра к обеду уйдет». Но медленно дело делается. Прибывает вода, растут забереги, трещины пересекают лед, и все никак не сдвинется он с места. Но наконец в один прекрасный день раздается громкий, как выстрел, хлопок, проносится табунок уток, и вот пополз огромный Енисей с опостылевшим потемневшим льдом, с вытяжвыми дорогами, с тычкой у проруби, появляется длинная трещина с блестящей водой, с грохотом и хрустом лезет лед на берега, и вот уже тетя Надя, что-то звонко выкрикивая и крестясь, бежит с ведерком под угор, кланяется Батюшке-Анисею в пояс. Дожила...

Васька

1

Первое, что услышал Васька, просыпаясь, был шелест дождя по крыше избушки. «Значит, за глухарями не поедem», – подумал он, чувствуя, как отпадает всякая охота подыматься. Было поздно. Николай, давно вставший и попивший чаю, сидел на нарах, сопя и куря папиросу, и прикручивал цепочки к капканам.

– ...Сорок пять... Ну и как спали, Василий Матвеевич? – проговорил он, швырнув в кучу последний капкан.

«Мог бы разбудить, если так недоволен», – подумал Васька и, кивнув на покрытое каплями окно, спросил неизвестно зачем:

– Давно сыпет?

– Ешь давай, – ответил Николай, – да поедem сеть смотреть.

Снег, так радовавший Ваську, наполовину стаял и оставался только в складках мха. У безжизненного кострища мокро блестела банка. Вода стояла в собачьем тазу, висела мелкими шариками в кедровых иголках. На открывшуюся дверь вяло шевельнулся серый хвост под навесом. Чуть забелело в низких тучах, от ожившего ветра полилось с деревьев крупными каплями, закричала с елки кедровка. Но когда Николай с Васькой спускались к Бахте по скользким чугунным камням, снова потемнело и засипел по воде было притихший дождик. Николай отвязал от кустов веревку и лодка, грохоча, сползла в воду, оставив на камнях белые блески.

– Заводи иди, – поживаясь, буркнул Николай; чувствовалось, что ему неохота ни шевелиться, ни к чему-либо прикасаться.

В сеть попали три большие щуки и таймень. Николай застрелил его из тозовки. Когда ехали назад, дождь усилился и Ваську, сидевшего за мотором, больно било по глазам. Обсушившись, Васька решил пройтись по дороге, которую ему отвел Николай в этом месте. Но едва он поднялся в хребет, пробрел по редкому кедрачу с пяток капканов и вышел, шурша снегом, к болотцу с красным мхом, всыпал такой дождь, что ему ничего не оставалось, как вернуться обратно.

– Ну и охота мокнуть было? – усмехнулся Николай, все вопросы начинавший с «ну и».

Васька поел жареного тайменя с картошкой, попил чаю и, смастерив на чурке станочек из толстой проволоки, принялся вертеть цепочки для капканов. Николай, всегда делавший то же самое плоскогубцами, посмеивался: мол, давай-давай, мастер, посмотрим, что из твоего мастерства через месяц выйдет. Быстро стемнело. Николай заправил лампы, долго протирали стекла газетой, подрезал ржавыми ножницами фитили. Разгорелось пламя и сразу сжалось, почернев, синее окно. Николай прикурнул от лампы, улегся и, не глядя, достал с полки журнал.

Васька в калошах на босу ногу вышел на улицу, помешал остывающий на лабазке собачий корм, вернулся, лег на нары – и затосковал. Дождь убил в нем всю прежнюю бодрость – бодрость от новых забот, от легкого морозца, стоявшего целую неделю, пока они развозили продукты по избушкам. Он чувствовал себя совершенно размокшим и бессильным. Все его удручало. От шуточек Николая становилось неловко, он не знал, как на них отвечать: обижаться не хотелось, а остроумно огрызаться он не решался, да и не умел. Все меньше нравился и сам Николай, который, казалось, без конца напоминал, что он здесь хозяин и что у него со всем вокруг, начиная от ведра в избушке и кончая порогами Бахты, свои старые отношения. Ваське казалось, что даже вещи напарника смотрят на него с превосходством, особенно полка, туго и аккуратно набитая пачками пулек, махорки, папирос. Казалось, что, если Николай сажает его за свой мотор, то непременно для того, чтобы Васька видел, как хорошо тот у него работает. Что

Николай все время ищет повода придрататься, что если нарезать хлеб толсто, он скажет «оковалков напахал», а тонко – «ково настриг – окошко видать», и поэтому старался резать как бы средне и вообще избегал что-либо делать первым. Васька уже не мог остановиться. Раздражало лицо Николая, сухое, с русой бородкой, с выпуклыми желтоватыми глазами, которые, когда тот жевал, прикрывались крупными веками в веснушках, и одно из них двигалось вверх-вниз в такт челюстям. Все больше не нравились его избушки, маленькие и низкие. Васька пощупал шишку на лбу, поглядел на балку и представил, что сказал бы отец по этому поводу, наверное, что-нибудь вроде «лесу пожалел, а головы нет». Не нравилось Ваське и их устройство: везде одинаково – стол у окна и по бокам нары. Особенно раздражала Ваську эта избушка, срубленная почему-то на крутом склоне и покосившаяся сразу в двух направлениях, так, что, когда входишь, сначала получаешь дверью по спине, а потом танцуешь на кривом полу, чтобы не завалиться на печку.

Закрыв глаза, Васька стал представлять себе Бахту, по которой они подымались с грузом несколько дней. Она казалась широкой и неприветливой с бесконечными камнями, косами, скалами в косой кирпичик и сеткой облетелых лиственниц по берегам. Васька содрогнулся, вспомнив неуместное веселье беляков в пороге, стук мотора о камни и тугое стекло слива, сквозь которое просвечивает зеленое ребро каменной плиты. Потом он стал думать о названиях, которые уже совсем никуда не годились: Бедная речка, Холодный ручей или еще того лучше – Хигами, Гикке и Ядокта, которую Николай, надо отдать ему должное, удачно переименовал в Ягодку. То ли дело – Верхняя речка, Андроновский лужок, Алешкин ручей! И Васька с невозможной тоской вспомнил деревню, Енисей, озера на левой стороне, где они весновали с отцом; вспомнил майское солнце, земляные берега Сарчихи, из которой по виске¹ можно попасть в длинное озеро, вспомнил большую избушку в остроконечном чернолесье и горьковатый запах тальников, дрожащих под напором течения и прозрачно-слоистых от того, что каждый уровень воды оставляет на них свою полоску ила. Раз поймали они в сеть огромного карася, поразившего Ваську своей сказочностью: темно-золотой, с копейку, чешуей и человежье-самодовольным выражением выпученных глаз и приоткрытого рта. А раз Васька, пробираясь ранним утром на ветке по затопленному ельнику, услышал совсем рядом, впереди, нежный, колокольчо-звонкий клик. Он выехал из чащи и увидел на абсолютно зеркальном озере двух лебедей, которые, когда он подплыл ближе, завертели желтоклювыми головками и поднялись, медленно отделившись от своих отражений и оставив на воде две рассыпающиеся дорожки. Сделав круг на фоне ельника, они набрали высоту и, перекликаясь, пролетели над Васькой, деревянно и тоже как-то сказочно двигая выгнутыми крыльями.

Однажды отец уехал в деревню сдавать рыбу и задержался на сутки. Васька, прождав ночь, отправился смотреть сети и так увлекся, что опомнился только вечером в отяжелевшей от рыбы ветке, когда, еле ворочая веслом, въезжал по виске в озеро – прямо в серебряное небо, где над перевернутым облаком висела в воздухе обоюдоострая стена пихтача с еле заметной линией берега посередине, с двумя половинками лодки и двумя изогнутыми струями синего дыма. У костра на тропинке, уходящей в воду, сидел отец и мешал в большой чашке сметану с мелко нарезанной черемшой. Ту ночь, светлую и короткую, Васька запомнил на всю жизнь. Отец полулежал на боку, глядя сквозь остывающий костер на дрожащую воду, одной рукой подперев голову, а другой обняв привалившегося к нему Ваську. Никогда он не видел отца таким задумчивым, никогда рука его не лежала на Васькином плече так хорошо и никогда он не испытывал такого счастья. И такой усталости, которая продолжала укачивать его, как ветка, и он, уже закрыв глаза, все выпутывал из бесконечной сети серебристых, пахнущих огурцом сигов. Отец отнес Ваську в избушку, сходил на берег прибрать хлеб и, когда сам укладывался,

¹ Проток, река между озерами.

заметил, прикручивая фитиль, как дернулась рука спящего Васьки с распухшими красными пальцами.

Летом отец утонул. Как это произошло, никто не узнал, нашли только прибитую к острову и полную песку лодку. Васька остался вдвоем с бабушкой: мать умерла, когда он был еще совсем маленьким.

2

Прошло три месяца с того самого дождя. Ясным морозным днем Васька подходил по белому полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья в светлом и просторном лиственничнике. Утро было очень холодным. Пар выходил изо рта плотной струей и с шелестом рассеивался. Низко над рекой пролетел, скрипя крыльями и косясь на избушку, ворон. Были видны заиндевелые ворсинки у его ноздрей. На ворона нестати взлаял кобель-первоосенок и тут же замолк, пряча глаза. Ваську все это очень позабавило, одарив на весь день хорошим настроением. Мороз не давал мешкать и он часов за пять управился с дорогой. Попало три соболя. Искрился снег, густо синели тени, тянулся за лыжами сахарный ступенчатый след. До избушки не хватало нескольких капканов и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удовольствием подумал: «Все хорошо будет – в следующем году доставлю». В одном месте на припорошенный лед вылилась вода и застыла кристаллами. Слетелись толстые красные клесты и грызли эти зеленые звезды своими похожими на испорченные ножницы клювами. Они старательно наклоняли головы, прижимали их ко льду, и была в их движениях какая-то смешная ухватистость. Серебрились на еще светлом небе тонкие, изогнутые, как рога, ветви лиственниц. Полоска пара висела над промоиной. За мысом открывался длинный плес и над ним сопка с припудренной вершиной. Бочка у избушки, чурка с воткнутым две недели назад топором, – все было засыпано пухлым голубым снегом. Васька не спеша освободил ноги из юкс, снял тозовку, привадник, понягу, согнувшись, вошел в ледяной сумрак и прежде, чем затопить печку, стукнул по трубе поленом. В ответ с шорохом проехал кусок снега. Потом он, не расслабляясь, надел лыжи и притащил из поленицы несколько листвяжных чурок, которые кололись на рыжие волокнистые поленья, казалось, еще до того, как их коснется топор. Потом спустился с ведром к промоине у ручья. Края затягивались ледком, сквозь темную парящую воду виднелось дно в камнях. Шурша, развернулась отколота льдинка, и Ваську еще раз умилила эта зимняя живучесть речек и ручьев, в любой мороз продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька с одобрением уставшего человека прислушивался к гулким щелчкам, к нарастающему реву в высокой трубе, из которой вслед за густым дымом начинал вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссеченный искрами. Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. С резким, каким-то особо отчетливым морозным шелестом, шумел по камням ручей. Избушка нагрелась, светилась печка рубиновой краснотой, плавилась в кастрюле льдышка глухаринного супа. Васька развесил соболей, снял азам, заиндеветый изнутри по швам, растянул его на гвоздях за печкой, потом, несмотря на почти невыносимую пустоту в животе, еще некоторое время терпеливо разувался и принялся за еду, только когда аккуратно висели на своих местах бродни, перехваченные бабушкиными цветными вязочками, пакульки и портянки. После чая он поставил на печку собачий корм и, откинувшись на нары, замер, переживая блаженство этого долгожданного мига. Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой луковкой стекла золотая корона пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника. В эти минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто

и красиво висят портянки на затертой до блеска перекладине под потолком. И росла в нем безотчетная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжелого и чудного, за ощущение правоты, которое дается лишь тем, кто погружен в самую сердцевину бытия.

3

С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь еще с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пестрого от кухты леса. Но обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдали у мыса три шевелящиеся точки. Потом возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приемник и вдруг вскакивал от громкого лая, без шапки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далекое и мерное шуршанье лыж. Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с березовой лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле раздвигающей застывшие губы. Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с соболем, застрявшем после выстрела в толстой и лохматой кедре, подходить по свежей лыжне к светящемуся окну и видеть, как бьется во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, рябчики скворчат на сковородке, а из рации, к большому удовольствию сытого и разомлевшего Николая, доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», обсуждающих способы ремонта «дыроватого» ведра. Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на крыше, скидывающего лопатой скрипучие кубы снега. Он было кинулся помогать, но Николай раздраженно осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды и он ушел в избушку пить чай, сразу показавшийся безвкусным, хоть он и мечтал о нем весь день. Впредь он стал еще более внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он стал оставлять еще больше и еще мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра. Николай, первым вспомнив случай со снегом на крышах, признался, что «после сам переживал» и что «наверно, язык не отсох бы все добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго вспоминал истории про непутевых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному. Был один, Борька, все приговаривавший во время сборов: «Тайга – это тебе не водку трескать». Залетали они в тот год на вертолете. Николай разделил груз на две части: с одной высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать его на лодке. Но шло время, а Борька все не появлялся. Николай забеспокоился, пошел к напарнику сам, шел два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в теплой избушке невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», – подумал Николай, а кончилось все просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню. Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка. Вылетел вертолет, Николай пошел его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознания с тускло горящим фонариком в руке. В каждой избушке у Николая висело по школьной тет-

радке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришел с Холодного, (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил Васька другую запись. Она кончалась словами: «пишу стоя на коленях жалко мало пожил». Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то вредность характера, а обычное недоверие битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, что этого недоверия остается между ними все меньше и меньше. Особенно потеплело на душе у Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек. В отношениях с людьми Ваську все больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто все выходило совсем не так, как он думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и грамотно басящий «Захребетный» – последним болтуном, лентяем и посмешищем целого поселка. Был еще некто «Пятнадцатый». Говорил он резким, недовольным голосом с причавкиванием, и, казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравились его авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья и он без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забывали» эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геней, и Васька поначалу их даже путал, потому что Гена-сын тоже причавкивал и харахорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый». Однажды Васька пришел настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь, пока оттаит ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в животе и весь день провалился на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причем сначала по привычке продолжал изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, которого и так не покидало ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию.

4

Бабушка жила в Васькиных мыслях постоянно. Маленькая, легкая как совенок, мягкая от надетых на нее платков и фуфаек, пахнувшая прелым тряпьем, рыбьим жиром и картошкой, она и на расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его от водки или как перед отъездом донимала советами («Бахта станет – по льду не ходи»). Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как темным утром тащится с фонариком в контору узнать «нет ли от Васи чего».

Еще вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И, когда бабушка в десятый раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?», он проорал ей в ответ что-то настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда. И чтобы заглушить этот стыд, Васька изо всех сил думал о том, как отдохнет бабушка, когда он вернется, как хорошо они с ней заживут теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму.

Под конец охоты уже очень хотелось домой, но когда настало последнее утро, когда прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно

грустно и обидно за это вот-вот опустеющее жилье, за открытую лыжню, по которой он вчера пришел и которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая будет теперь стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги. Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Ее хозяин, молодой парень, уже отохотился и ушел домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье – «стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь на нары, уснул мертвым сном.

Под утро посреди какого-то путаного сна его разбудил Николай. Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый, Николай внимательно посмотрел на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:

– Вот что, Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.

Будто лопнул лед под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся уже по-настоящему и, оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически-мерно сопит Николай и так равнодушно недвижим еле тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что он, лежа с открытыми глазами, чувствовал, как все продолжает тонуть, цепenea в пробирающем до костей холоде – будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, оголенный сном, страх одинокой потерянной души.

Васька затопил печку. Она загудела, и все сдвинулось с мертвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за дверью... Настал день, а страх все не отпускал. Он был с Васькой все время, пока они шли по уже хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у зверофермы, и когда они тряслись в нарте на едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в реве мотора и оставались от него лишь нелепо дергающиеся головы с открывающимися пастьями.

А потом показался дом на угоре и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда гул стих, она все что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил ее по вздрагивающей стеганной спине и говорил несвоими губами: «Ну, будет, будет», а над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце.

Осень

1

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается...

- Тук-тук.
- Да-да!
- Здравствуй, Галь.
- Здравствуй, Миш.
- Как дела?
- Помаленьку.
- Мужик где?
- В мастерской.
- Тук-тук.
- Да-да!
- Здорóво, Петрух.
- Здорóво!
- Как дела?
- Помаленьку.
- Так-так.
- А что хотел?
- Да вот в тайгу собираюсь – крышечку ищу.
- От бачка?
- От бачка.
- Была у меня крышечка, да Вовке отдал – он в тайгу собирается.

Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трехлитровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:

– Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции. Дернешь браженции, и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку, да зайду к Толян».

– Молодец, что зашел, – обрадуется Толян, – а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди – рыбы принесу.

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые, как ни старайся – все на последний день останутся, глядь – давно уж темно и домой пора.

– Не забудь, – скажет Толян, поднимаясь, – фуфайку. В прошлый раз оставил.

– Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи. – Возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту.

Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет – крышечку от бачка.

2

В ту пору весь год у меня проходил в заботах – то лес несет – грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь, и я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой, с железными уголками ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности, прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало еще кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульки для тозовки, батарейки, приемник. «Что ни говори – собрание своеобразное», – посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцеви́тый Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим снегом и неприятно теплым ветром, залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнет и свалится на меня соседняя книга, потом еще одна или две, и как я, не спеша, выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплете и открою первую страницу.

Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная погода с задумчивым и студеным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарахтя, невидимая самоходка, наконец гуднула и отдала якорь, громохнув цепью. Прибежал Толян – сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным – в последние дни все не ладилось. То пошел дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора. Пришел трактор с санями, мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда-постой!» И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, черные, как головешки, деревянные лодки. Вот и все. А дальше – лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:

– Да заглуши ты его, – и достает из рюкзака бутылку спирта.

И появляется кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.

Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с березки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в черных точках камней. Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевело́й травой. С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде – вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам она течет крученой дымчатой пленкой, под порогами бродит по кругу черным стеклом. Поверхность глубокого плеса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зеленой мгле плиту с трещиной и яркий обломок березы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени

одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены зрелищем: далеко внизу, чудно искаженные зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавами, висел десяток в гамачном оцепенении замерших щучар. Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей – Николаями Васильевичами.

Был хороший момент: Толян, пройдя или, как говорится, «подняв», шиверы (очень бурливое, хоть и глубокое, место с сильным течением), лихо сшиб налетевшего «Николая Васильевича», а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зеленой бородой.

Надо заметить, что катание по порогам перестает быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога. Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползешь по ней, пока наконец не оказываешься со всех сторон окруженным озверевшей водой, вот мотор громко взрывает, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара – откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползет по камню, начинает заваливаться нос, но все обходится и ты, надав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плеса. По плесу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пестрые осенние склоны и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка. Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рева выпал звук работающего мотора и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно держа шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно, кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло середкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза и полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как, упершись ногами в камень, помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как все отчерпываю ее этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку а сам кричит:

– Все поймал, только сундук утонул!

Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело все – и оружие, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. «Лучше бы какой-нибудь рис утонул», – думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулемок заго-

товлены на несколько лет вперед, все надоело и хочется только одного – живого человеческого слова.

Кроме потери книг удручал еще и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте – и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный), совесть моя была нечиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чем не повинному Толян и отравившую мне всю осень. Пережив такое начало охоты, я, в ожидании следующих бед, по семь раз все отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо.

Толян дал мне приемник, батареек и еще кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба – так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло несильным, но каким-то сплошным и нешуточным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Многого вкладывается в такое рукопожатие.

Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошел в гору. Шивера в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял ее без приключений.

Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил ее весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашел внутрь. Все было на месте: лампа, связка стекол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике.

Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пулями лежал Пушкин: стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина», все в одном старом, без обложки, томе – как я забыл о нем?!

Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косой вершиной. Я собирал в закопченный чайник темную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.

Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на березку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, все его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.

В далеком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тетки и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нес мужик на руках, словно спящего ребенка, огромного убитого глухаря... Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого еще давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне. Помню, еще в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьем, а заросшая льдом прорубь – веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья, до тех пор, пока не открывалось темное подрагивающее око, живой хру-

сталик которого я уносил с кусочком льда в обмерзшем ведре... Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избушки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду как могу служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.

Дождь стихал. «Разъяснивает, – говорил я сам с собой, таская веревочной петлей дрова из поленницы, – завтра утренник будет, поеду на Майгушашу, не забыть бы капканы – в ручье висят». Запалив костер и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:

– Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?

* * *

А может быть, природа – это самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: все стараемся чем-то от кого-то отличаться и все сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем ее: мол, как можно так повторяться из года в год, что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на нее зря – тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпенье и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому человеку:

– Хочешь получить от меня подарок – съешь сначала моего кислого яблочка...

Вот попробовал ты ее кислого яблочка – и словно чудо произошло: уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет: плывите, мои золотые, плывите да напоминайте нашим детям – кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.

Повести

Стройка бани

1

«Батя, сделай мне рыбы... – писал из Красноярска Серега, – путевой, осетрины, ведра четыре, флягу, короче, молочную, на “Матросове” у меня Славка, механик, он в курсе...» Серега кратко рассказывал о своих делах, желал отцу здоровья и обещал прислать электродов, проволоки-нержавейки и бутылку тормозухи – зимой в замки заливать – милое дело. Иваныч, только что слезший со сруба новой бани, долго засовывал толстыми в корке мозолей пальцами прочитанное письмо в конверт, потом некоторое время сидел на диване, глядя в пол, крепкий, как кряж, большегубый, курносый, с твердым нависающим чубом, с мясистым, как бы надвое рассеченным лицом (глубокая складка меж бровей, над губой и на подбородке), и рядом, почти отдельно, сама по себе лежала такая же крепкая и мясистая его рука, темная и тяжелая загорелая кисть, даже в расслабленном состоянии стянутая мышцами и мозолями и похожая на клешню, все будто продолжающую сжимать рукоятку молотка или топорище. На внешней горбатой стороне толстой кисти темнела продолговатая лиловая шишка: Иваныч ворочал мокрое после дождя верхнее бревно – сруб новой бани тогда как раз дорос до уровня лица – оно крутанулось, и кисть попала между скользким круглым боком и острым краем только что выбранной чаши. В ту же секунду автоматически пронеслась мысль: «как соболев в кулемке»², в ту же секунду, приподняв балан³, он освободил руку. На ней белела яма и атели мелкие капельки крови, Иваныч сунул ее в бочку и держал, пока ледяная вода не перебила боль, потом, вынув, пошевелил пальцами, убедившись, что сухожилия целы, и ушел точить цепи. На кисти вспух бугор, она несколько дней болела, но это была приятная боль, боль жизни, что ли, и он согласился бы испытывать такую боль каждый день, если б можно было сменять на нее ту неизлечимую болезнь сердца, с которой он два года назад попал в краевую больницу и которая теперь так неотвратимо меняла его жизнь.

Выйдя из больницы с диагнозом ишемия, Иваныч, несмотря на всю завидность своего положения, на необходимость расстаться с любимым делом – промысловой охотой, стал как-то еще кряжистей и духом, и телом и, сбавив внешний пыл, перешел на какую-то пониженную передачу жизни, от которой, как у трактора, медленней, но неумолимей стало его упрямое движение вперед.

Новый, шесть на десять, рубленый дом он успел закончить, еще когда был в силе, а старая банька уже никак не смотрелась рядом с высоченным восьмистропильным кубом, давно превратившись в заваленную барахлом подсобку, где варился корм собакам и где он обрабатывал «ондатров». Еще хотелось проверить, обкатать эту свою новую пониженную, и еще Иваныч по-настоящему страдал без хорошего пара.

Лес на баню уже был давно готов и лежал на лежках возле площадки. Чтобы никого не звать подымать баланы, Иваныч сделал журавль. Сходил на пилораму к Сварному Генику, голубоглазому молодому мужику с очень хорошо растущей бородой, всегда выручавшего с искренней охотой, с полуслова понимая необходимость нового самоловного якоря или ремонта щечки

² Кулемка – деревянная ловушка на пушного зверя.

³ Балан – бревно.

балансира⁴. «Какой разговор Иваныч – заварим», – сказал он и, ворочая сварочный агрегат, продолжал рассказывать, как ловил тайменей «под камнями», сопровождая рассказ словечком «ага», с помощью которого как бы сверялся с какой-то своей внутренней правдой, отчего его рассказ приобретал особую независимую достоверность. Толковый и редко пьющий, Геник, выпив, становился неожиданно задиристым и вязким и однажды, когда гуляли у Иваныча, безобразно докопался до Иванычева друга Николая и тот выкинул его с крыльца. Утром, встретив Иваныча, Геник приветливо поздоровался и спросил: «Я че, говорят, бузил вчера?» и, как механик о привычной и исправимой неполадке, добавил рабочим тоном, что, мол, надо было кое-чего подбросить, на что Иваныч, хохотнув, ответил, что примерно так и сделали.

Из-за плохого контакта не сразу прошел ток, и Геник несколько раз постучал электродом по железяке, на что каждый раз напряженным гулом отвечал аппарат, а потом с сухим шипящим треском заработала сварка, и Иваныч, отвернувшись, глядел, как озаряется неестественно ярким голубым отсветом трава, видел искры, синий дым, вдыхал едкий запах и, держа в верхонке горячий прут, наощупь прижимая ее к другому, почувствовал, как его наконец прихватило по некоей новой устойчивости, легкому общему зуду всей схватившейся конструкции. Между рукавом и верхонкой оставалась полоса голой кожи и одна искра, раскаленный кусочек электрода, попала туда, прилипла, прожигая кожу, и снова Иванычу стало хорошо от этой ласковой боли, снова повеяло продолжающейся жизнью, чем-то живым и поправимым. Отбивая шлак, он стучал молотком по шву, и тот еще некоторое время продолжал рубиново светиться, а потом потемнел и стал блестяще-синим. Потом они приварили к обрезку толстой трубы дно и получилось что-то вроде кастрюли, прожгли в дне дырку, в которую вставлялась уключина, и кастрюлю эту он надел, как шапку, на вкопанный рядом с будущей баней столб, в уключину легла длинная вага и получился журавль.

Потом Иваныч сделал новую пазовку (прямое тесло)⁵ – уж очень хотелось пустить в дело один старый топор, который он выменял у своего друга – Коляна. В кузнице монотонно гудел компрессор, Степка, разворачивавший в тисках светящуюся обойму от подшипника, кивком поприветствовал Иваныча и глазами указал на горн. Иваныч положил топор в раскаленную кучку углей на решетке и, подгребая кочережкой, досыпая совком свежий уголь, глядел, как раскаляются до радостной рыжины угли от дующего из-под решетки ветра, как взвиваются оранжевые искорки, а когда засветилось ярким солнечным светом лезвие, взял его щипцами, быстро вложил в тисы и затянул, и, вставив в проушину ломик, повернул его коротким движением, и волшебнo-мягко развернулась раскаленная проушина, остывая, темнея, лиловея, и он снова нагрел, и снова довернул, уже совсем поперек. Степка держал лезвие, а Иваныч, напряженно и свирепо сморщив лицо, долго оттягивал его кувалдочкой, обковывал, заворачивал углы лезвия вокруг тисочного конуса, а потом, снова накалив, сунул в квадратное ведро с черным маслом, и металл зашипел, выпустив дымную струйку, и, глухо захлебнувшись, замолк, а потом вытащил безжизненно холодный топор, вытер тряпкой и долго обрабатывал на наждаке, и летели сочные искры и на неряшливо-буром металле ширилась ровная снежно-синяя полоса свежего лезвия.

Обратно Иваныч шел мимо кирпичной дизельной, и оттуда мощно, с мерной отчетливостью тарахтела толстая труба с неровным торцом, и сотрясалась земля вокруг, и белело светлое северное небо над реденькими остроконечными елками, и шел ночной парок изо рта, и рядом черный, как черт, Лешка-дизелист, наклонив бочку, наливал в помятое ведро масло и, несмотря на неудобную позу, понимающе-приветливо кивнул Иванычу, и потом долго было слышно, как он заколачивает молотком пробку.

⁴ Щечка балансира – деталь снегохода «буран».

⁵ Пазовка (прямое тесло) – развернутый наподобие тупки топор, которым выбирают древесину при изготовлении долбленых лодок, корыт и пазов в бревнах.

Из давно высушенной заготовки, Иваныч сделал топорище той единственно прекрасной формы, которая раз удавшись, уже навсегда остается с тобой. Потом насадил новую пазовку и пил чай, и боковым зрением видел свежую белизну топорища, и лежала отдельно правая рука Иваныча – темный горбатый кусок плоти, знающий и помнящий гораздо больше, чем способна вместить человеческая голова, и похожее на тяпку с полукруглым лезвием тесло стояло уже с тем отдельным, самостоятельным видом, с каким стоят, будто всю жизнь, вышедшие из-под мужицких рук топорища, лодки, дома... Перед сном Иваныч прошел через огород к окладу бани. Было очень тихо, внизу чуть шелестел потихшей волной Енисей, и в синих, казавшихся в белом ночном свете особенно литыми, чугунами, листьях капусты лежали, как слитки олова, продолговатые лужицы воды от дневного дождя. Листвяжный оклад белел с тем задумчивым и загадочным видом, с каким белеют ночью такие вот оклады и срубы, в своей неподвижности будто еще сильнее излучая мощную силу работы.

Прохладным солнечным днем съездил Иваныч за мохом в свое место по Сухой, привез в когда-то красной, а теперь обшарпанной до матовой серебряности «обухе»⁶ пятнадцать мешков длинного ярко-зеленого кукушкина льна. За сруб взялся не торопясь, это была первая настоящая работа после больницы, от ее успеха зависела вся его жизнь, с таким скрипом прилаживающаяся к болезни. Он не спеша размечал бревна, выбирал чаши и пазы, и острый ковш нового тесла, как в масло, входил в желтую сосновую мякоть. Внутреннюю, избяную, сторону бревна он опиливал вдоль «Дружкой», стоя одной ногой на бревне, а другой на положенной вдоль лафетине, а потом крутил кверху плоскостью и строгал электрорубанком – тесать «в стене», как он это делал в доме, было уже тяжело. Уже выработался определенный ритм работы, однажды нарушив который, он потерял потом два дня на отлеживание и жранье таблеток. Стараясь особо не утруждаться, он клал в день по венцу, и еще надо было съездить по самолетам, посолить рыбу, сварить собакам, и, конечно, первый день было особенно тяжело, но на второй Иваныч почувствовал, что, если не будет горячиться, то, похоже, управится. Когда пришло письмо от Сереги, он уже обшивал фронтон дюймовкой.

Доски на обрешетку лежали рядом на прокладках, так же как и уже подогнанные друг к другу стропила с затяжками, сложенный стопой шифер и кирпич. Заготовки на косяки и на дверь тоже давно были готовы, он выпилил их еще прошлой весной, распустив «Дружкой» прямую толстую кедр. Он вообще любил пилить вдоль и, крепко вставив в бок балана острый зуб гребенки, с ровным усилием погружать в кедровую мякоть свежеспиленную цепь и глядеть, как сыплются из-под нее обильные длинные опилки. Толстый балан быстро превратился в стопу белых досок. Сошли они у него все лето, накрепко прибитые скобами к стене мастерской. Когда он прибавлял их, зашел за дрелью младший Николаев парень, тоже Колька, и с любопытством наблюдал Иванычеву работу, а потом каждый раз приходя, все трогал шероховатую, с косыми следами цепи, поверхность и все представлял, как, просыхая, корчится, из кожи вон лезет, стремясь изогнуться пропеллером, распятая доска.

Серегинo письмо, как обычно, растревожило, напомнило о том, о чем Иваныч старался не думать, о том, что сын уже несколько лет живет в городе, живет совсем по-другому и все то, на что Иваныч положил жизнь, ему попросту не нужно. А сделано было действительно много – кусок дикой тайги в ста верстах от Енисея он превратил в отлично оборудованный участок с избушками, лабазами и путиками⁷, первым пробил долгосрочную аренду участка с правом передачи по наследству, причем обсуждение последнего условия испортило ему особенно много крови, отгрохал новый дом на угоре на самом лучшем месте над Енисеем, выдержав тяжбу с районным архитектором, навязывавшим свой план застройки, выгнал из тайги и отремонтировал брошенный экспедицией вездеход, расчистил и расширил запущенный покос, сде-

⁶ «Обуха», «обь» – название лодки.

⁷ Путик – ряд ловушек на пушного зверя, обычно длиной в дневной переход.

лал еще тысячу малых и больших дел, которые имели бы смысл, если б Серега остался, завел семью, и они тогда бы вместе снова держали корову, и Иваныч бы переписал на него участок, но Серега далеко, и вся жизнь Иваныча рассыпается и требует теперь особенной внутренней собранности.

...А денек был хороший, и Иваныч любил работать на срубках, где уже дует свой верховой ветерок, и откуда как-то по-другому видится деревня, крыши, все, что творится: вот поехал под угор за рыбой тракторист Сашка-Самец, вот сосед примчался с самолота и озираясь тащит на угор колыхающийся мешок с осетром, вот приехал с покоса его друг Николай, вот покрикивает он на своих сыновей, недостаточно дружно, по его мнению, вытаскивающих лодку, вот они поднимаются, старший тащит пустую канистру, средний – топор, а младший, Колька, – котомку с пустой молочной банкой, сам Николай с нажаренной солнцем рожей бодро приветствует Иваныча – резко поднятая согнутая в локте рука и сжатый кулак – и Иваныч, отложив доску, отвечает тем же. А потом притарахтел и ткнулся в каменистый берег почтовый катер, потом Иваныч спустился пообедать, и тут маленький Колька принес письмо. «Ладно, нужна рыба – значит будет», – сказал Иваныч, стряхнув задумчивость, вышел на улицу и поглядел на небо.

Обычные для этих мест перепады давления он переносил все труднее, и особенно тяжело было, когда задувал север, его любимая погода – ясная, холодная, с водяной пылью над взрытым ветром, синим, налитым металлом Енисеем и рыжим ночным небом.

Раньше он завидовал дедкам-пенсионерам, у которых наколото березовых дров на три года вперед, всегда запасена береста на растопку и охапки лучины, завидовал снисходительной завистью молодого сильного мужика, у которого невпроворот забот поважней, чем заготовка черешков для лопат. Теперь он понимал, что это не от хорошей жизни и что этот же дед, если б так не болели ноги и спина, сам бы с удовольствием летал на «буране» на яму, подныривал самолеты⁸, а не щипал бы впрок вороха лучины, не забивал огромные дровяники мелко наколотыми березовыми дровами и не ремонтировал чужие старые невода, стараясь как можно плотнее занять зыбкое стариковское время.

Первое время Иваныч все надеялся, что привычная обстановка, будь то выученное наизусть очертание берегов или любимые, давно знакомые предметы, вдвойне сильные какой-то своей драгоценной потертостью, поддержат его, вытянут из беды, и так верил в силу всей этой обстановки, что часто в пылу, в реве мотора и свисте ветра не замечал ни боли, ни тяжести в груди и, только вернувшись домой, с ясной досадой понимал, что ничего не изменилось и что зря он себе морочит голову.

Но главным было то, что между состоянием борьбы за существование, которое он испытывал в особенно тяжелые часы, когда нестерпимо давило за грудиной, ломило лопатку, отнималась рука и вся остальная жизнь с ее заботами отходила куда-то совсем далеко, и между этой самой жизнью не было никакого зазора, никакой передышки, будто можно было или только падать в пропасть, или карабкаться по жизни, по ее бесконечным и необходимым делам, потому что едва он приходил в чувство, сразу начинались дрова, вода, еще что-то, что вскоре понадобится и о чем надо уже сейчас подумать, вроде животки, которую если с осени не поймаешь и не посадишь в ящик в озере, то не на что будет зимой ловить налимов и прочее, и что если еще вчера ты почти навсегда распрощался со всем окружающим, то сегодня надо было возвращаться в него и как ни в чем не бывало двигаться дальше.

Иногда хуже всякой погоды отравляла мысль о Сереге. «Надо же такое ляпнуть, “скучно” здесь, что за натура такая, – думал Иваныч, для которого участвовать в смене сезонов было интересней всякого путешествия. – И вообще... Раи нет, Серега в городе... Зачем строю? Эх, Рая, Рая...» И он некоторое время думал о своей шесть лет назад умершей от рака жене – очень

⁸ Самолов – снасть на красную рыбу, впрочем, довольно жестокая – рыба ловится острыми крючками прямо за тело.

доброй, немного странной и насквозь больной женщине, с большими навыворот глазами и таким количеством прожилков на них, что казалось, и слезы ее тоже должны быть в прожилках.

Хотя Иваныч и говорил, что не знает, мол, зачем строит, все он прекрасно знал, и то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрет, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую времянку, халтуру, лень и презирает того давнишнего мужичка, у которого он однажды ночевал: в его избушке было полно щелей, но тот, вместо того чтоб их добром проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедал две таблетки аспирина и, натянув шапку, заваливался спать.

Иваныч зачем-то еще держал участок, платил аренду, но было ясно, что придется с ним расстаться. Он продолжал обсуждать с мужиками-товарищами погоду, высказывать наблюдения и соображения о предстоящем сезоне, входил в их проблемы, будто тоже собирается в тайгу, будто не знает, что этого не будет больше никогда... А все так ярко стояло перед глазами: осень, заезд, груженная деревяшка, волнистые берега с растрепанной тайгой, Сухая – широкая, мощная, плоская, в водоворотах зыбкой мыри река, пласт прозрачайшей голубоватой воды, которую хотелось выпить, навсегда принять в душу, чтоб она уже больше никогда не мучила, не снислась, не изводила больничными ночами... Добраться под вечер до первой избушки, уже в темноте с фонариком сходить на берег, проверить лодку, груз, принести ведро воды, с которой обязательно зачерпнется несколько камешков... Кому, кому теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, выросшие на твоих мозолях, эти затертые нары, стол, отполированные портянками вешала над печкой?... А даль меж мысов, завешенная будто светящимся снежным зарядом, а ночное, полное звезд небо после долгой непогоды? Бывало, неделями не видишь этой красоты, смотришь на небо только по делу, переживая за сено или дорогу, а на берега – с веревкой от кошки в руке, ожидая, пока сойдется створ с высокой елкой⁹, но вот небольшое окно в работе – и взглянешь на пелену дождя, растворившую берега, и так обдаст далью, будто ты все еще тот паренек, какой когда-то сюда приехал – только тогда красота была новая, яркая, а сейчас знакомая, притертая, как старый инструмент, который любишь за вложенную в него душу.

И опять эта осенняя Сухая, пятисоткилометровая река, стекающая с низких голых гор, широкая и очень мелкая по сравнению с этой шириной, и россыпи камней у берегов, по которым все льется, журчит вода, и красные осыпи высоких яров, под которым вода тоже красная, и избушка на высоком берегу, и ночевка, а с утра снова дальше, а небо уже почти зимнее, вроде бы затянутое, но облачность высокая и прозрачная, и все – и мотор, и камни, и вода – все особенно металлическое, серебристое, алюминиевое. А вечером вдруг выйдет перед закатом ясное, сдержанное солнце, будто смущенное собственным теплом, и нальет воду холодной синью, а наутро вроде бы светло, но опять как-то серо, серебряно. Крокнет, кувырнувшись на крыло, ворон, и тишина, лишь мощно и отстраненно грохочет вдали длинный и глубокий порог, сжатый двумя каменными грядами-коргами, и сереют пожухлые кусты перед облетевшим лесом, и дымно лиловеют голые березы, и лиственницы тоже осыпались и стоят обнаженные, вздев свои изогнутые пупырчатые ветви, и лишь темнеют кедры и ели. И все – и металл, и свет, и тишина, не то чтобы скорбные, а какое-то очень глубокие... Будто подбирает сама в себе что-то природа, и в тебе тоже все подбирается, подтягивается ожиданием и светлой тревогой. Утром падает за ночь вода, и лед сначала обтягивает камни стеклянными куполами, а потом, лопаясь, топырится угловатыми кусками матового стекла вокруг вылупившегося булыгана, и вода уходит от берега, и если разбить голубое кружево, там окажется сушайшая галечка, и уже схватило морозцем подстилку в тайге и ноги в юфтевых броднях с матерчатыми голяшками уже зудят и готовы бежать за дальний хребет. И все за тебя и зовет, и говорит:

⁹ Створ – это судовой знак. Иваныч искал самолет по метам – то есть выбросив из лодки «кошку» на веревке, греб, пока не сойдутся меты на берегу – створ с сухой елкой.

только работай и не ленись. Вот и хлеб замерз и уже не зачерствеет в прибитом к елке ящике, вот лодка будто сама вылезает на обледеневшие камни, вот и рыбу солить не надо, сложил на лабазок – и она так и схватится вместе с розовой слизью оползшим пластом. А поначалу вроде нет птицы, ни белки, ни соболя, а потом глядишь, засвистел рябчик, собаки глухаря подняли, а вот и первый соболь – внимательная ушастая голова в развилке лохматой кедры и уже пора настораживать¹⁰. Так всегда торжественно и веско произносится это слово – не потому ли, что осенью каждый действительно будто настораживает в себе чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника?

Где-нибудь у капкана с очепом¹¹ возле кедры с длинной рыжей затесью нахлынет старинное воспоминание, засветится, как заплывшая смолой затеска на душе, сделанная десять или двадцать лет назад, когда первый раз шел здесь, рубил путик, вспомнилось что-то далекое и оно теперь на всю жизнь привязалось к месту, и так и вспоминается уже столько лет подряд, не давая покоя душе.

Край яра, откуда видна продолговатая листовичная сопка какого-то очень таежного вида и поворот реки, особенно волнующие, когда идет снег и очертания хребта едва угадываются в снежной дымке. Здесь вспоминал Иваныч далекий год, Слюдянку и похожего на кряж деда с упрямой седой головой. Он глядел на сизый Байкал, на длинные, набегающие со спокойным гулом валы, на синие зубчатые горы на той стороне и говорил кому-то, стоящему рядом: «Седо-о-ой, красавец, батюшка...», и такая великая и неподдельная гордость звучала в его слегка дрогнувшем голосе, что Иваныч до сих пор не мог спокойно вспоминать об этом дне, хотя сам был теперь почти таким же дедом.

Длинная, очень основательная кулемка в редком и необыкновенно аккуратном кедраче перед подъемом в гору. Здесь Иваныч вспоминал Гаврилу Теплякова, мужика, у которого стоял искусственный клапан на сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз и он не смог завести свой тоже еле живой «буран» и пришел пешком, а потом они с Иванычем, тогда еще молодым, ездили за «бураном». И был мороз, и тянул хиус, и на покосе стоял заиндевелый старенький красный «буран», и следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сгоревшая спичка, были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Иваныч раскочегарил паялку до реактивного рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел черную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил он медленные движения Гани, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди, синяки под его усталыми глазами и красные веки, и спокойную и твердую руку с выпуклыми жилами и татуировкой «Ганя», не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «буран», сначала на одном цилиндре, потом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор, и Иваныч заткнул «вертилятор» тряпкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом они накидали сено на сани, и когда увязывали воз, Иваныч, не рассчитав силы, слишком сильно потянул веревку и сломал промерзший, нетолстый, с экономией сил сделанный Ганей бастрик¹², и, измученный напряжением вечного нездоровья, Ганя вспыл, сказал в сердцах: «Да что за такое наказание!», и хотя это относилось скорее не к Иванычу, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Иваныч быстро вырубил новый бастрик, они увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсонихи у Иваныча вдруг перехватило топливо и он остался снимать насос, а Ганя, шедший передом, ничего не видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся и терпеливо ждал, пока Ива-

¹⁰ Настораживать – настораживать ловушки на соболя.

¹¹ Очеп – приспособления для записания попавшей в капкан добычи наподобие журавля.

¹² Бастрик – толстая жердь, через которую веревкой утягивают воз.

ныч ставит насос и разбирает карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и Иваныч, чувствуя, каким напряжением дается Гане и это возвращение, и ожидание, старался делать все быстро и был до тошноты зол на себя и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. Потом они сидели у Гани за бутылочкой и тот рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц, готовый к операции сердца, и который все, как он выражался, «ждал мотоциклиста», и Иваныч представлял себе этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждет. Ганя вскоре переехал под Красноярск.

У ручья, текущего, как по дороге, по огромным камням, нарастающими ледяными шапками, он вспоминал, как умирала от рака Рая. Ее измученные виноватые глаза в прожилках, и то, как она говорила, что, мол, скорее бы уж, а сама, бедная, все просила лучше закрывать дверь, «а то продует», и то опустошающее облегчение, которое испытал он, войдя в комнату и увидев ее каменное лицо, восковой лоб и темную струйку мертвой крови из неподвижно приоткрытого рта.

А у большого капкана на краю тундры¹³ вспоминалось детство, дед и покос. Дудка, хвощ, таволожник, волосяник, который мужики называли крепким словом с прибавкой «...волосник». Как шел ранним утром по покосу, спотыкаясь о срезанные дудки, в которых вогнуто стояла ночная вода и весело брызгала в глаза, а потом спросил у деда, откуда вода, если ночью дождя не было? Дед ответил с каким-то почти возмущением от его необразованности, что при чем тут дождь, «земля-то гонит!» и велел скидывать сено в копны. Еще он лазил по тальникам с казавшимся тяжеленным топором и рубил подпоры, и было нестерпимо жарко и вилась тучами мошка, залезая под рукава, в штаны и в глаза, и он брал у деда мазь из дегтя с рыбьим жиром и мазал изъеденное потом лицо. А когда он лежал в кровати с закрытыми глазами, все шевелилась в руках блестящая рукоятка вил, пересыпалось перед глазами сено, и все цеплялась, не слезала с зубца трехрожек, увядшая макаронина дудки, и все это отвлекало, не давало заснуть, и стало спокойно на душе, только когда он представил, как тихо сейчас на покосе, как стоят литовки и вилы у зарода¹⁴, как молчит скошенная трава, и продолжая в тишине таинственную работу, гонит воду неутомимая земля, наполняя соком срезанные мертвые дудки.

2

Сергеа был похож на Иваныча, такой же курносый, с крепким подбородком, но черноглазый и темноволосый, в кого-то из материнной родовой. Характером в мать, такой же непредсказуемый, заполошный, он все торопился начинать дело и так же быстро сгорал, остывал, отступал. Во время сборов в тайгу он все торопил отца: «Бать, да че тянуть, встанем пораньше и поедem, к двум уже у Медвежьего будем». Иваныч раздражался: «Сколько раз говорил: не плантуй», и действительно, все выходило по-Иванычеву, опаздывал тракторист увезти груз, а у Сереги убегала плохо привязанная сучка и в результате они выезжали только после обеда. При всем при этом Серега был и добрый, и смекалистый, и когда ему хотелось, мог свернуть горы. Крепкий, подкаченный, следящий за собой, в драке Серега сходу приходил в состояние истерического бешенства и сладу с ним не было никакого – в деревне его боялись, хотя и ценили за кураж и остроумие – однажды он пришел в клуб на танцы с квадратной коробкой хозяйственных спичек, которую доставал из кармана пиджака с особенным уморительным шиком. Любил спать и спросонья был по-детски вялым и почти беспомощным. Любил дурачить приезжих – однажды с серьезным видом объяснял туристам с теплохода, что каменная гряда, которую натолкало на берег весенним льдом – это специальная дамба для защиты от

¹³ Тундра – верховое болото, открытое место.

¹⁴ Зарод – стог.

весеннего наводнения. Кто-то спросил, как же вы, мол, эти камни таскаете, а Серега с гордой обидой отрезал: «Так вот и таскаем. Всю зиму на собаках возим».

Был он человеком настроения и в работе при всех здоровых на первый взгляд рассуждениях все делал бестолково потому, что не учитывал сложности обстоятельств и именно своих же собственных настроений. Любил тяжелые разовые работы, но не мог изо дня в день терпеливо тянуть одну и ту же лямку. В работе у него было два состояния – или восторженное, когда что-то получается, или кисло-истерическое, когда не клеится, и если для Иваныча главным было сделать так, чтоб не пришлось переделывать, то для Сережки главным было побыстрее освободиться. Как-то раз Иваныч слышал, как он говорил приятелю: «Скучно здесь. Хочу заработать и не могу – негде. Батя, конечно, молодец, но в хрен мне не грюкало так здоровье гробить...». Далее следовал рассказ о дальневосточном городе, где Серега работал на судоремонтном заводе во время службы во флоте, и о его фантастически деловом и удачливом приятеле, с которым они катались на мощном и очень низком двухдверном автомобиле с турбонаддувом.

«А мне грюкало? Мне – грюкало? – все не мог успокоиться Иваныч. – Тебя же, дармоеда, кормить-поднимать, в тайге хребет рвать! «С хребтом у Иваныча действительно была беда. Как-то он едва нагнулся к капкану, как буквально сперло дыхание от острейшей боли, охватившей позвоночник, причем не только со спины, а еще и изнутри, из живота. Он кое-как выпрямился и, подгоняемый сорокапятиградусным морозом, шаг за шагом аккуратно «донес» свой отказавший хребет до избушки и там еще несколько дней лежал на нарах, выходя на каждую колку дров, как на пытку.

Быть охотником Сереге нравилось во многом, конечно, из-за престижности этой профессии, но работал он в общем-то сносно, делом интересовался, пытал старших, в избушках с жаром обсуждал с отцом тонкости, но, придя с промысла, гоняя на «буране» по поселку с невозмутимо расправленными плечами, короткими стремительными движениями руля подерживая «буран» на неровной дороге и общаясь с приятелями, за один день так отдалялся от отца и его интересов, что шли насмарку долгие месяцы общей таежной жизни. Обычно охотники, придя из тайги, шли делиться пережитым друг к другу, а Серега шел к продавчихиному сыну, у которого была «телка» в Дудинке и интересы которого вращались вокруг видеокамер, пива и сигарет и с которым они могли часами обсуждать сорта батареек. В разговоре с этим Вовкой он даже как-то снисходительно говорил об охоте, будто эта деревянная, сыромятная, снежная, потная жизнь была не всепоглощающим потомственным делом, а лишь чудаческим дополнением ко всему остальному.

Серегина Ленка, очень стройная, прямо ставящая ступни, деваха с пышными светлыми волосами и почти всегда опущенными глазами, стучала короткими и остроносими резиновыми сапожками по дощатому тротуару и, поравнявшись с Иванычем, быстро вскидывала глаза и бросала: «Здрасьть», будто говоря: «Ну да! Такая вот я и есть, а ты, хоть старый пень и уважаемый человек, а туда же». Однажды она так же вот шла навстречу, и рядом вился малец, чем-то ей досадивший, и тогда она выстрелила примерно следующее: «Здрасьть (пшел на хрен!) эт я не вам». Ленка работала радисткой на метеостанции, одновременно выполнявшей и функции аэропорта, а до этого радисткой на почте – у нее был ценнейший в таком деле резкий высокий голос. Ленка передавала телеграммы, и Иваныч, выписывая по каталогу запчасти, слышал за перегородкой ее резкий голос: «Чехова, пятнадцать! Че-хо-ва: Человек, Егор, Харитон... Че-хо-ва. Дуплякиной, Ду-пля-ки-ной, – дупло! Все? Понято», – шелчок тумблера и Ленкин смешок: «Х-хе, “прохождение”... Уши мыть надо!»

Баба она была со стержнем, за свое умела стоять насмерть и чуть что – начинала орать своим удивительным голосом, пока не добивалась победы. Звали ее Большеротая. Была она сирота, жила с древней бабушкой носившей зеленые очки, и считала, что и начальник, и Иваныч, и все на свете Сережку обижают, зажимают и норовят обделить всем, чем можно. Осо-

бенно гордо и терпеливо ухаживала она за ним, когда он болел. А болеть он, по выражению Иванныча, «любил».

Сам Иванныч, да и все его товарищи переносили «любую заразу» на ногах, а Серега, едва хватив простуды и захлопав носом, становился кислым, включал телевизор и заваливался на диван с книгой. Однажды у него долго болел большой палец на правой руке, после того как он богатырски, с перекидом на обушок, насаживал на топор витую еловую чурку, как шкантами стянутую сучьями, и большой палец неудачно попал между обушком топора и широкой, как наковальня, колочной колодой. Он все потирал палец и морщился, раздражая недоверчивого Иванныча, а потом, когда приехал пароход с врачами, Сереге сделали рентген и оказалось, что палец у него был сломан и уже сросся. Иванныч совершенно запутался в Серегиных недомоганиях, но после случая с пальцем стал осторожней. Но раздражение оставалось, и справедливое, потому что этот палец был неспроста, и все упиралось в эту сучкастую витую елку: у Сереги была манера, уже заехав на охоту, искать и валить на дрова эти самые сухие елки, вместо того чтоб заранее напилить листвяка или кедры, поколоть и сложить, чтоб сохли.

Еще у Сереги все время болели зубы. Ближайший зубной врач находился за триста километров, правда, иногда летом приезжал на недельку-другую какой-нибудь запойный зубной техник из дальнего города. Но летом Сереге обычно было не до зубов, а прихватывало его, «как обычно» – язвительно разводил руками Иванныч, зимой в тайге в самый разгар охоты, и тогда, переполошив по радию окрестных охотников, он то тащил рассыпающийся зуб пассатижами, то вспарывал флюс ножом, то пилил наполовину оторвавшийся мост надфилем.

Много лет они ездили на старых Иваннычевых моторах и тот рассчитывал, что Серега на сданную пушнину «возьмет себе нового вихрюгу» и это снимет нагрузку со старой техники, а Серега ехал в город и покупал новый дорогой телевизор и галогеновый фонарь. Но поскольку покупал он на свою честно заработанную долю, упрекнуть его вроде было не в чем, хотя все это было отступлением от их общих интересов. И такие отступления встречались на каждом шагу, и все не происходило того, чего Иванныч с такой надеждой ждал – встречного участия сына в делах и постепенного переноса их тяжести на Серегины плечи – Серега все продолжал считать отца начальником и организатором хозяйственной жизни. Но когда тот начинал его попрекать за какую-нибудь недоделку, выпучивал свои навывкате глаза и кричал: «Я мужик! Ты че, батя, меня попрекаешь!», и закатывал пьяные истерики, а потом спал до обеда, раскинув руки с большими бицепсами, вздымая ровным дыханьем красивый смуглый торс со съехавшим крестиком, и рядом на столике, где стояла пепельница с окурками и катышком жевательной резинки, все ночь молотил магнитофон с автореверсом.

В конце концов Иванныч разделил всю технику, но, как он и думал, кончилось тем, что Серега свою не чинил, хотя она у него была в вечно разобранном виде и это называлось «не видишь, я “бураном” занимаюсь», и когда надо было вывезти дрова шел к отцу, у которого все было на ходу. При этом время от времени Серега наводил у себя в комнате тошнотворный порядок, выглядевший как издевательство по сравнению с тем, что творилось в мастерской, и Иванныч еле сдерживая раздражение, шел к соседу Петровичу, в небольшой хибарке которого всегда было полно стружек и прочего хлама, но весь инструмент: топоры, рубанки, ножовки и цепи – были выточены до бритвенной остроты.

Отношения усложнялись, они решили разделиться уже полностью, и Иванныч сказал: вот тебе половина техники и вот тебе половина участка: делай что хочешь, ко мне не ходи, и у тебя есть такие-то вот обязанности, например, дрова, рыбалка и огороды. Тогда Серега решил уйти от отца и жить самостоятельно, для чего надо было строиться. Однажды ночью Серега притащил среди ночи какого-то ярцевского бича, которого ссадили с теплохода за пьянку. Через этого Степку Серега решил достать строевого сосняка, которым так славилось леспромхозное Ярцево. «Ну что, Степан, сделаешь мне леса?» – спрашивал он Степку грозным деловым тоном. У Степки была рассечена губа и в кровавом треугольнике расселины удобно лежала

беломорина. «Накосить – отвечал он, приседая и проводя широкий круг рукой – накосить – они тебе накосят, а вот с транспортировкой – тут я пас». Эту фразу он повторил раз сто пятьдесят пять, вставая, идя на Серегу и обдавая его перегаром.

Иваныч еле терпел этого Степку, но Серега твердил: «Батя, ну человека ж не выгонишь на улицу, его и так, как собаку, выпнули». Прожил он у них два дня, надоел смертельно, и когда Серега, отдежурив целую ночь, посадил его на теплоход и оба они, облегченно вздохнув, сели за чай, вдруг раздался стук и ввалился Степка, который за пять минут успел напиться и подраться с какими-то бичами и прыгнуть в лодку к не знавшему предыстории почтарю. Степку в конце концов отправили, а затея со стройкой как-то умерла сама собой.

Серега все не мог забыть своей владивостокской жизни, по сравнению с которой жизнь, выбранная отцом, несмотря на все свои прекрасные стороны, была в несколько раз тяжелее своей непреходящей ломовой тяжестью, постоянной заботой по поддержанию существования, какой-то смертельной привязанностью человека к природе и быту, ежегодным повторением борьбы со снегом, ветром, дождем – за сено, которое съестся коровами, за дрова, которые сгорят, за лыжницы и дороги, на глазах заметаемые снегом, который весной растает вместе с лыжницами, дорогами и снежными печурками для капканов, за всех этих глухарей, тайменей, соболей, чья свежедобытая красота так восхищает душу, а в итоге как-то оскорбительно неравноценно меняется на запчасти, комбикорм и консервы, от которых тоже вскоре не остается ни следа. Все это так угнетало Серегу, что он тайком начал готовить себя к совсем другой жизни, которую язык не поворачивается назвать иначе чем нормальной. Через пароходских, которым он сдавал рыбу, у него появились завязки в Красноярске, он ездил туда и однажды зимой после охоты на подлете к городу он испытал вдруг такое облегчение, что больше никаких сомнений в дальнейших планах быть не могло – у него было чувство, будто он вырвался на свободу. Недельное ожидание вертолета, очень сильные морозы, пьянка в дизельной, во время которой он напился и, заснув, стал подмерзать на цементном полу и потом, не приходя в чувство, как зверь, переполз под теплый ветер радиатора, опохмелка в грязной остяцкой избе, где ничего нет, кроме стола и железной печки, а потом изжога от плохой водки и боль застуженного зуба, и мрачный Иваныч, особенно жестокий в своей немногословности. Потом вертолет снова не прилетел и было мрачное морозное небо, в котором холодно мерцал красный огонек какого-то другого несевшего вертолета, а на другой день в обед он все-таки вылетел и в поселке удачно пересел на диксонский рейс, и все это – и дизельная, и изжога, и мрачное ночное небо – вдруг остались далеко позади, и сразу прошел зуб, и были огни, и празднично освещенные витрины, и на сиденье автобуса хорошо одетая девушка с книжкой «Боевые собаки мира», и какое-то совершенное расслабление всего существа.

Однажды в конце лета он даже задержался на месяц, чем здорово подвел отца: они договорились вместе ехать завозить горючее на зиму. Прошли дожди, поднялась вода, и случай был – грех пропустить. Иваныч подождал-подождал, да и поехал один и, вываливая двухсотлитровые бочки из лодки, закатывая их на угор, все думал: «Что за натура! «Ей-богу, вольтанутый какой-то! Может, я в чем виноват? Да нет вроде... И все время со мной парень был. Вот у Кольки трое – и все молодцы, и хоть тот и называет их “лоботрясами” и при других разговаривает с ними свирепым голосом, живут-то они душа в душу...»

Особенно хорош был средний сын, Лешка, по кличке Дед. Звали его так за сходство со своим дедом, Колькиным тестем дядей Митей Черт Побери – старым очень кряжистым остяком¹⁵, с такими короткими ногами, что, казалось, он по колено ушел в землю. Лешка, несмотря на свои пятнадцать лет, имел черные усики, тоже был очень кряжистый, ходил в бодрую перевалочку и все делал на редкость ухватисто, заправски, даже с некоей юношеской избыточностью движений, но с невероятным жаром, прилаживал ли отпадающий стартер к «Дружке» или

¹⁵ Остяк – представитель коренной национальности – енисейских кетов.

отчерпывал лодку берестяным черпаком. Дядя Митя, старый и уважаемый охотник и рыбак, когда напивался, через слово говорил «черт побери», причем произносил это по-остяцки отрывисто и отчетливо – сродни перепелиному «спать пора». В обычное время его особо не было видно, но выпив, он начинал бегать по деревне и с жаром здороваться со всеми двумя руками, выкрикивая отчетливой скороговоркой: «О, черт побери, как дела? Выпить есть, в самом деле? Все по уму! О-о-о, чер-т-т побери!» Примечательно что через дом от Чертика жил другой мужик, Николай Афанасьев по кличке Бог, в свою очередь прозванный так за выражение: «В бога мать», тоже пожилой, но сухой, с худым и правильным бледным лицом и светло-синими глазами. Он сильно сельдючил¹⁶ и отличался нечеловеческим трудолюбием и такой же нечеловеческой бережливостью, косил вручную, правда, с помощниками, на десять бычков и ходил все время в одной, покрытой аккуратными мелкими заплатами, фуфайке. У него был почти музейный желтый «буран» первого выпуска, с непоцарапанной краской, на котором он возил дрова из лесу, причем оставлял «буран» на дороге, а от поленицы они с женой, обливаясь потом, таскали дрова на нарточке. Дважды у него вылезала грыжа и ему вызывали санзада-нье. Серега одно время рыбачил с Богом промхозным неводом, и тот рассказывал сказочного колорита побасенки одного очень определенного направления, а колючих застревающих в ячее ершей называл «гошударством». «Вон оно – еще одно гошударство идет», – говорил он, высвечивая фонариком надувающегося и манерно топырящего плавники ерша, и аккуратно вытаскивал его длинными сухими пальцами.

3

В ту осень Серега, проявив необычайную прыть и изворотливость, и не без помощи Лениной глотки, купил новый, в упаковке, трехсотый «нордик» финской сборки – серебристый, стремительных очертаний снегоход с дымно-голубым ветровым стеклом, похожим на леденец задним фонарем и электроподогревом рулевых ручек.

В начале сентября они с Иванычем увезли в тайгу отцовский «буран» и бензин, и теперь везли Серегин груз и новый «нордик». Незадолго до отъезда Серега гулял на водопутейском катере и один матрос, Эдуардка Пупков по кличке Бешеная Собака, с протезом переднего зуба, от которого отвалилась пластмасса и на ее месте виднелась металлическая основа в каких-то очень авиационных дырочках, так вот этот вот Эдуардка рассказывал Сереге, как якобы занимался в Норильске водномоторным спортом и для повышения скорости шлифовал редуктор и винт, и Серега, загоровшись, несколько вечеров подряд драил винт войлочным кругом, на что Иваныч только качал головой, зная, что вся эта шлифовка до первого камня. Забрасывались они на участок на десятиметровой дюралевой лодке, доставшейся им от одного охотника, склепавшего ее в городе на заводе. По бортам ее были пущены две широкие доски, крашена она была темно-зеленой краской и звали ее «Крокодилом». На редкость громоздкий и неказистый Крокодил брал тонну груза и на волне ходил ходуном, как кисель, что и спасало его от перелома. Первые восемьдесят километров река текла довольно спокойно, а дальше шло несколько широких и мелких порогов, за последним из которых стояла их первая избушка. Вода была не самая, но все же маленькая, и Илюшкины Шиверы¹⁷ и первые два порога Сергей поднял благополучно, всего несколько раз цепанув защитой – сваренной из уголка и прутьев ограждением для винта. С последним, Мучным, самым неприятным, у Сереги были свои счеты, в прошлом году у него здесь заглох мотор и он чуть не вывалил весь груз. Спасло то, что произошло это

¹⁶ Сельдючить – от слова «сельдюк», житель Туруханского Енисея (по названию туруханской селедки – ряпушки). У сельдюков особый говор, например, они произносят вместо «ш» – «с», вместо «ж» – «з» («серсавый», «нозык»). Сельдючить – это значит говорить по-сельдючьи.

¹⁷ Шивера – участок реки с камнями и быстрым течением.

в нижней части слива. Мучной порог был самый нескладный, длиной метров сто, не столько даже мелкий, сколько с очень сильным уклоном и огромным числом камней, расположенных в шахматном порядке, так что каждый обойденный камень перекрывал путь к отступлению. Самая пакость была сверху, где за огромным булыганом, через который белоснежными лентами валила стеклянная вода, начинался спокойнейший плес, сквозь кристальную воду которого на многие метры виднелось выложенное плитняком дно. По сторонам от камня дрожали две выпуклые струи. В более мелком левом ходу было несколько метров ровного галечного дна, где вспененная вода текла стремительным, пугающе тонким пластом. Именно здесь обычно подымался Иваныч, с отсутствующим видом сидя за работающим на полняке тридцатисильном мотором и медленно с железной точностью и уверенностью ползя вверх. Правый ход, которым пошел Серега, был глубже, но требовал почти невозможного маневра, потому что как только ты входил в слив, сразу на выходе оказывался камень, и чтобы его обойти, требовалось сделать движение румпелем вправо, но мотор, тут же откидываясь, переползал еще один камень и лодка, потеряв скорость, оказывалась опасно развернутой к течению. Сергей очень хорошо почувствовал через подскочивший мотор этот удар, хруст и видел, как Иваныч с перекошенным лицом пытался шестом выправить нос, а мотор в синем облаке дыма бессильно орал на срезанной шпонке, и Серега не мог понять почему не помогла защита. А они уже неслись, набирая скорость, и Крокодил с горой груза, бочками, с серебристым «нордиком», все сильнее разворачивало поперек, несмотря на все усилия их шестов, и раздался один удар о камень, потом другой, и уже пронесло половину порога, и полностью развернутый Крокодил всей массой несясь середкой на блестящий зеленый камень. Серега зажмурил глаза, раздался страшный сложный звук, в котором слился и удар, и треск, и одновременно Иваныч отпустил веское, будто все обрубающее, двусложное слово и вылетел за борт в обнимку с канистрой, успев натянуть на себя карабин.

Все как-то вдруг замерло, застыло, переломленный пополам Крокодил, колыхаясь, сидел, обнимая камень, задняя часть с «нордиком» осела в воду, наполовину слезший с транца мотор упирался в дно, а ниже удалялся, качаясь в серебристой водяной толчее черный вездеходовский бачок.

Истошно орут собаки, Иваныч, стоя по бедра в воде и держась за камень, кричит: «Ну че опрутел? Хватай канистру и прыгай!», а Серега стоит в Крокодиле и то застегивает, то расстегивает ремень, не зная, снять озям¹⁸ или нет. Устройство порога было таким, что они теперь оказались почти в берегу и, падая под напором воды, цепляясь за камни, быстро перебрались на берег, и, кажется, плыть пришлось один раз. Крокодил так и сидел двускатной крышей на камне и из грохота воды волнами доходил собачий ор. Пока отжимались – вода ледяная, вот-вот снег пойдет, – выяснилось, что Серега поставил под винт только одну шпонку, что вторую бессмысленно ставить из-за канавки во втулке, и тут Иваныч от всей души обматерил его за этот отшлифованный винт с канавкой – и пожалел, что не отобрал у него мотор перед порогом.

В избушке в двух километрах от Мучного они сушились и пили чай, и Серега, который никогда еще в жизни не чувствовал себя так гадко, после долгого молчания сказал: «Как же мы все это гошударство вылавливать будем?» «Ладно, “гошударство”, – наконец усмехнулся Иваныч – нордьятину-то мы найдем, а вот что с Крокодилом... – Он покачал головой. – Накопить они тебе накосят, а вот с транспортировкой...»

Стащили казанку, поставили «ветерок» и поехали. Привязались к Крокодилу, Серега перекидал мокрых, топырящих лапы, собак, подал лыжи, понягу, оружие, мешок. Когда он вытащил из противомедвежьей бочки мешок с крупой, облегченный Крокодил угрожающе заходил под напором воды и Иваныч заорал: «Режь, утопит нас!» – и Серега вскочил в казанку и перерезал веревку, а Иваныч поймал за фал съезжающий Крокодил, от которого тут же ото-

¹⁸ Озям, азам – охотничья сукодная куртка.

рвался мотор. Они поволокли Крокодил по дну, видя под мощным пластом клубящейся дымчатой воды, как колыхался надорванный корпус от ударов по камням и как вывалился и потерялся из виду «нордик». Крокодил они успели притащить к берегу раньше, чем их поднесло к следующему сливу, и долго на руках волокли по заваленному камнями мелководью, пока он не оказался на сухом, где выяснилось главное – что дно цело, порвались только борта. Темнело, и в этот день успели лишь найти и достать мотор, казавшийся в воде изумрудно-зеленым, переташиться через порог и доехать до избушки.

Сергеа никак не мог сосредоточиться, его волновало все сразу: как искать «нордик», далеко ли унесло бензин и как быть: отремонтировать Крокодил или ехать в деревню за другой лодкой, а Иваныч был спокоен, потому что знал, что надо просто все делать по очереди. Выпили без радости, топили печку, утром намотали высохшие, затвердевшие коркой портянки и поехали к Мучному. Пока грелся чай, Серега профукал мотор, снял маховик, вычистил каменную крошку и завел. Оказалось, что у защиты отломился один ус, видимо, еще в предыдущем пороге, и Иваныч опять с тоской и раздражением подумал о том, что Серега должен был перед Мучным проверить защиту, а сам он должен был напомнить об этом Сереге, но не напомнил, потому что Серега выпучил бы глаза и забухтел бы, что он «мужик» и сам все знает.

Приготовив шест с крюком, веревки и кошки, они уехали к порогу и начали поиск, заезжая под слив и сплавляясь на якоре. Сначала, правда, объехали самые вероятные места, выловили мешок комбикорма и видели ведро. Просматривалось все насквозь, только отсвечивала вода, когда двигались против света. Буровили долго. Избороздили больше половины широченной реки, а «нордика» все не было, и уже ум заходил за разум, и было ясно, что ищут не там, и Серега все ворчал: «Мы здесь елозим, а он, поди, лежит себе спокойненько на камнях в Нижнем сливе». Но «нордика» и там не оказалось, они спустили Нижний слив, за ним шла глубина метров шесть, плясала черно-синяя вода частокотом остроконечных волн, а ниже ходила по кругу пена в огромных черных воронках – и как искать, там было вовсе непонятно. Они сплывались ниже, выудили со дна ярко-зеленый армейский плащ, обнимавший камень, поехали вниз, и нашли вездеходовский бак, стоявший в камнях у берега, а ниже у Гришинского порога бочку с бензином. Вернувшись назад, они подняли Нижний слив и поехав немного левее, чем обычно, вдруг наткнулись на еще один мешок с комбикормом, мешок вытащили крюком, Серега заорал: «Давай дальше так же езжай!», и совсем под камнями у той стороны в хрустальной воде они увидели «нордик», лежащий на боку во всем нелепом великолепии накладок и отражателей. Подняли его и отволокли на веревке мотором к противоположному берегу. «Нордик» не пострадал, капот был крепко застегнут, поцарапались только металлическая окантовка боковин и разбился боковой отражатель. Серега прокачал двигатель, завел, прицепил лыжи и перегнал «нордик» по пабереге за порог, откуда потом они увезли его к избушке.

На следующий день они, привезя заклепки и доски, собрали Крокодил, облезлой зеленой краской и многочисленными заклепками напоминавший старый бомбардировщик. Серега собрал смолу с прибрежных избитых льдом елок, нагрел ее в банке и с криком «Накосить они тебе накосят!» долил бензину, размешал палочкой и смола вдруг сразу почернела и стала как настоящий гудрон, только темно-коричневая, и Серега подмигнул отцу, мол, «можем изобрести, когда надо», и Иваныч проворно и аккуратно заливал швы Крокодила, а Серега размазывал гудрон палкой с намотанной тряпкой.

В избушке Иваныч сушил крупу и подсчитывал потери: не считая мелочевки, потеряли только Серегину противомедвежью бочку с комбикормом и сгущенкой, но по-настоящему было досадно за новые «бакенские» батареи для радиостанции – старые сильно подсели еще в прошлом году, и эти Иваныч с большими трудами выменял у Бешеной Собаки на стопку камусов¹⁹.

¹⁹ Камус – шкура с ног сохатого или оленя, используется для оклейки лыж и для изготовления пимов (род зимней обуви

Иваныч с Серегой поехали дальше. Листва с берез облетела еще не полностью и ярко желтели листья. Установилась погода: по утрам ледок у берега, днем ослепительное солнце, резкие тени, блестящая синяя вода, желтизна тайги, дно в рыжих камнях и голубая гора над концом поворота.

С утра ездили за птицей. Был запотевший полиэтилен окна, и Иваныч, встав, вышел на улицу и глядел на космически синее небо со звездами и стеклянное зарево восхода, а потом затопил печку-полубочку, и она загудела, и затрепетала в такт рывкам тяги пленка окна с зашитым следом от медвежьей пятерни.

Серега долго грел мотор под капотом, и синий дым стелился волокнистой прядью над сизым от инея берегом, и отчаянный лай привязанных собак отдавался долгим эхом по хребту противоположной стороны. За поворотом за седой от инея каменной грядой на галечнике сидели, вытянув вверх шеи, три глухаря, какие-то особенно ненатуральные в напряженной неподвижности высоко задранных голов. Одного Иваныч убил из тозовки прямо на галечнике, а другой сел на листовень метрах в ста, и Серега застрелил его из ружья. Обрато сплавлялись самосплавом. Припекало солнце, с шорохом опадал подтаявший ледок берегов, и на мелководье у охвостья галечного острова под выпуклым треугольником волны медленно удалялась литая торпеда тайменя.

Потом рыбачили сетями, потом Иваныч уехал вниз, а потом завернула зима, да так, что казалось, никакого лета и не было и вообще ничего в жизни не было, кроме поочередного движения мохнатых лыжных носов перед глазами и упругого холодка капканной пружины в ладони.

Но вообще, осень выдалась морозной и малоснежной, и Серега, шарашившийся по своим дальним избушкам и еще не видевший отца, не знал главную неприятную новость: то, что повылезали шатучие медведи и где-то вверху даже задрали двух охотников. Светло-розовым ноябрьским днем с редким сухим снежком Серега подходил к избушке по хребтовой дороге. Несмотря на погоду настроение было испорчено – собаки еще с утра убежали по старому следу соболя и, скорее всего, вернулись обратно на Еловый, причем едва они убежали, сразу же стали попадаться свежие следы. «Ладно, если завтра не придут, сяду на «нордик» и слетаю». Спускаясь к избушке, он увидел на старой почти задубой лыжнице неожиданно свежие крупные следы и тут же заметил, что с «нордика» скинут брезент и нет стекла. Карабин он оставил в самой дальней хребтовой избушке, ружье было как раз в этой, а с ним была тозовка калибра 5,6. «Блин, и собак нет!» Он постоял, помялся, сделал факел из палки и куска бересты, поджег его для остротки, взял в другую руку взведенную тозовку и пошел к избушке. Стояла она так, что, подходя, он видел ее глухую боковую стену и выкинутые спальные, лампу, кастрюли, батареи, осколки напротив распахнутой двери. «От, козлота! И собак нет», – снова подумал Серега. В морозном воздухе отчетливо слышался скрип развороченного пола – медведь завожился, почуяв Серегу. Тот сделал еще несколько шагов, и медведь вылетел в окно и на долю секунду замер, глядя на Серегу. Серега заорал матом, и медведь в три прыжка скрылся в лесу. Серегу трясло, он схватил ружье, искал патроны, не нашел, потом зачем-то налил в собачий таз и поджег солярку, потом взялся заводить «нордик», тот не заводился – было холодно, потом натаял в банке снега, нагрел его, полил на цилиндр, завел и пока тот грелся, накрытый брезентом, успокоился и поставил на подходах к избушке пару петель из троса, а потом уехал к отцу в избушку. Когда они вернулись, медведь уже сидел в петле. Все вокруг было изрыто-испахано, снег покрыт бурой земляной пылью и бледно-зелеными клочьями мха, окрестные елочки и кедрушки изгрызены в щепки. «Трос не перебей», – не удержался Иваныч, глядя, как ретиво передергивает Серега затвор карабина. Сергей выстрелил в голову, медведь рухнул и, отдрожав мелкой дрожью, застыл рыхлой черной глыбой. Больше всего Серегу поразило,

что, когда он уехал, медведь перебежал Сухую и забрался на угорчик – глянуть, не притаился ли Серега за поворотом.

В избушке прибрались, привезли туда продуктов, и в общем все кончилось удачно, единственное, что по реке было холодно ездить без стекла и приходилось все время останавливаться, открывать капот и греться под теплой струей вентилятора, отдирая от бороды и усов сосульки.

Через неделю Поповы снова встретились. Иваныч пришел поздно и застал Серегу сидящим на нарах, беседующим по рации с ближним соседом – Вовкой Коваленко. Весь день Иваныч как-то с особой теплотой думал о Сереге, а тут снова почувствовал раздражение, увидев, как болтает Серега, сажая еле живые батареи, тем более с Коваленко, который мог молотить языком сутками.

Коваленко обо всем говорил с небывалым жаром, все путая и преувеличивая. На его участке, оказывающемся просто какой-то территорией чудес, всегда вываливало в два раза больше снега, давили антарктические морозы и водились особенно свирепые росوماхи, которых тот называл «подругами» и которые разоряли Вовкины дороги, сжирая попавшихся соболей, с особой, почти человеческой, целенаправленностью. Естественно, что подруга, если уж попадалась, то непременно каждой ногой в отдельный капкан, что называлось у Вовки «обуться на четыре ноги». Все у него было особенное, огромные глухари или улетали из-под обстрела, будто бронированные, или падали к ногам еще до выстрела, рыба, если ловилась, то «валила валом», и ее «кое-как» удавалось перевалить в лодку вместе с сетью, а если не шла, то ее непременно «как отрезало ножом». Вовкины собаки, как обезьяны, лазили по деревьям и норовили так «фатануть в хребет» за сохатым, что возвращались не раньше, чем через месяц. Техника тоже у него работала по-своему и ремонтировал он ее тоже своим способом: «Ково? Колпачки? А я их ср-р-азу выбр-р-расываю! Р-р-релюшка? Ср-р-разу отр-р-рываю, напр-р-рямую все пускаю!.. Пор-р-шня, цилиндр-р-р-а? Ср-р-разу р-р-разбираю...» и так далее – орал он на весь район, и, казалось, что после столь решительных мер от мотора давно ничего не должно было остаться, кроме голого бешено вращающегося коленвала. При этом с охотой у него всегда все было катастрофически плохо, и он опять вопил: «Да нету ни хр-р-рена! Голяк! Пустыня Гоби!», но на вопрос, «надавил» ли он все-таки «пару десятков», не в силах удержаться, тяжело вздохнув, виновато отвечал: «Надавил».

– Ладно, Вовка, тут старшой пришел, ворчит, как обычно. До связи, – попрощался Серега с Коваленкой и весь вечер лежал на нарах с особенно скучным видом.

– Да ты че скучный-то такой? – не удержался Иваныч.

– Да нет, ничего – по-сибирски отдельно ударяя и на «да», и на «нет», ответил Серега и, сморщив лицо, потер правый бок.

– Болеешь, что ли? – насторожился Иваныч.

– Но. Есть маленько.

– Че такое?

– В бочину отдает правую.

– А температура?

– Да то-то и есть, что температура.

– Большая?

– А я хрен ее знат.

– На глаз надави, больно?

– Да вроде есть маленько.

– И давно?

– Да уже четвертый день. Может, отравился чем.

– Едрит-т-т твои маковки! А че молчишь? – сказал Иваныч и, подумав, добавил: – Завтра не ходи никуда.

Оба лежали каждый на своих нарах. Потрескивала печка. Ярко-горели две лампы, и в бачках из литровых банок прозрачно желтела солярка. На стене возле Сереги было вырезано:

Много в избушке набито гвоздей,
Здесь Серьга Попов добывал соболей.

Кругом действительно было набито огромное количество гвоздей, на которых висела одежда, веревочки, кулемочные сторожки, мотки проволоки, ремешки, фитили для ламп, капканы, ножницы, старый узел перемещения от бурана, мясорубка, а у двери в полиэтиленовом пакете какой-то сплавленный доисторический комбижир, который не ели даже мыши и не трогал здешний робкий молодой медведь, почему-то проверявший эту избушку только через окно. Комбижир этот давно уже стал частью обстановки и, казалось, для того, чтобы его выкинуть, потребовалась бы какая-то нечеловеческая решительность. Ошкуренные посеревшие бревна были очень толстыми, стены рублены в точнейший паз, что вообще редкость в таежных избушках, настоящие, как в деревенской избе, косяки были крепко влиты в дверной проем, а дверь из трех широких плах отлично согнана. Иваныч эту избушку любил особо, он в ней начинал охотиться, она была единственной из десяти на участке, срубленной не им, и ее редкостная добротность как бы с самого начала задавала тон всей остальной стройке.

– Батя, эту избушку кто рубил?

– Евдокимов.

– Но-но. Ты рассказывал... Это который кулемки первый начал рубить. Долго он охотился-то?

– Да нет, недолго, года два.

– А потом что?

– Уехал, – сказал Иваныч.

– И стоило ради этого такое гошударство городить...

– С начальником разругался, – сказал Иваныч и перевел разговор на кулемки.

Иваныч сказал неправду. Евдокимов – тридцатипятилетний бездетный, поразительно обстоятельный мужик, приехавший с бабой с Дальнего Востока и первый здесь начавший рубить вороговские кулемки, не ругался с начальником. Избушку эту действительно рубил он, заехав сюда весной. Проохотился он в ней два сезона и под Новый год так и не дошел до деревни – послали самолет и нашли его в версте от этого места сидящим мертвым на нарточке с выражением какого-то сумрачного напряжения на неподвижном лице. Иваныч помогал затаскивать его в клуб, где ему и делал вскрытие прилетевший врач – у Евдокимова «лопнул аппендицит».

На следующий день Серега никуда не ходил, и вечером Иваныч решил связаться с деревней и посоветоваться с фельдшером. Серьга не возражал, но резонно заметил: «Главное, чтобы до Ленки не дошло, а то она всех на уши поставит». Иваныч попросил начальника позвать фельдшера и рассказал, что у Сереги четвертый день «отдает в бочину» и температура. Слышно было плохо, как назло, совсем сели батареи («с Коваленкой целый вечер протрекал!» – рыкнул Иваныч), и Иваныча дублировал Коваленко с присущим пылом. Фельдшер, понятно, не мог сказать ничего определенного, решили ждать и выходить на связь.

Но тут, как это выяснилось позже, в контору ворвалась Большеротая Ленка просить у начальника какие-то злополучные лампочки для метеостанции и услышала конец разговора. У Поповых как раз в это время совсем сели батареи, а когда Иваныч, перемазавшись в едкой черной жиже, разобрал самую живую из них, пересоединил пластины параллельно, временно добавив напряжения, и вышел на связь, то с удивлением узнал, что вертолет уже летит, потому что Ленка действительно «поставила всех на уши», угрожая, плача, матерясь и особо упирая на плохую связь и севшие батареи, припомнив и Евдокимова, и на всякий случай двух зажран-

ных медведями мужиков и пригрозив фельдшеру, что все равно вызовет вертолет как главная радистка. «Ты гляди-ка – “рано”! – передразнила она фельдшера. – Рана век не зарастет! – и заблажила на одной оглушительной ноте, не давая вставить ни слова: – Мужик мой пропадет, а вы здесь сопли жуετε! Ни хрена – слетают не развалятся, когда им за рыбой надо – не спрашивают, кто платить будет, а вас всех по судам затаскают, если помрет мужик!»

В результате прилетел вертолет, и Серегу увезли в район. Иваныч перебрал все «бакена», выбрал рабочие пластины, собрал временную батарею и иногда выходил на связь. Через две недели он узнал, что Серега уже в деревне и заходит на участок. Заходя, Серега гудел в избушках у охотников и по этому гудежу можно было следить за его перемещением. «Сколько же он водки взял? Больной... – недоумевал Иваныч. Не всякий здоровый столько упрет», – и до поры не приставал с вопросами.

Через три дня Серега куралесил уже совсем рядом, у Коваленки. Гудеж заключался в том, что оба, отбирая друг у друга микрофон, городили друг на друга всякую несусветицу. Например, Коваленко все кричал, что, мол, мужики, спасайте, этот-то, приبلудный-то, верховской-то, аппендицитный, совсем заел, говорит, не кормишь меня, того гляди из избушки выпр-р-рет, в катухе с собаками ночевать заставит, водку притащил, пей, говорит, собака – а мне ее не на-а!...» А «приبلудный», давясь от смеха и гремя кружками, отбирал у него микрофон и орал: «Мужики! Вы кого слушаете? Этот майгушашинский! Это такой пес! Я к нему по-людски! Сидел, как швед, последний хрен без соли доедал, а тут ему выпить и закусить! Еле в избушку пустил, заморозить хотел! Слышь, бать, а? В катух! В катух к собакам, к Дружкам, значит, селит меня, как бичугана! И таз! Таз сует с комбикормом! Жри, говорит, пока лопаткой не огрел!» Тут Коваленко вырвал микрофон и заорал: «Мужики! Вы кого слушаете! Он почему в катухе-то оказался? У меня же сучка гониться! Дак этот кобель всех моих по... по... удди отсюда, пораски... пораскидал»... И тут оба завывли от хохота и временно затихли, чтобы выпить крепко разведенного спирта и закусить строганой максой – налимьей печенкой, причем Серега, услышав, как начальник жалуется, что не может улететь в район и третий день сидит на чемоданах, не поленился оторваться от закуски и крикнуть с полным ртом: «А че, на чемоданах нельзя улететь?»

На следующий день Иваныч встретил Серегу на «буране» и через полчаса в избушке Сергей доставал из поняги мгновенно заиндевевшую бутылку, пересыпающиеся с костяным стуком пельмени в мешочке и пакетик с мелким фигурным печеньем.

Серега за дорогу так преуспел в остроумии, что уже ни слова не мог сказать нормально и на вопрос, что же с ним все-таки было, ответил: «Этот застудил, как его, узел перемещения, короче. – Серега хохотнул. – Без стекла-то ездил, и максу посадил, комбижир жрал, как индюк». Иваныч не сразу, но понял, что под узлом перемещения тот имел в виду паховый лимфоузел, а Серега бодро налил водки и весь вечер рассказывал про главврача Тришкина, про свои залеченные зубы и про вредную, но красивую старшую сестру, за пятнистую шубу прозванную Ягуаровой. Потом Серега пошел кормить собак, а Иваныч лежал на нарах и, вспоминая эту осень, в который раз приходил к выводу, что опять все вышло исключительно из-за Серегоного «дуругонства»: не поставил бы он свой дурацкий шлифованный винт с канавкой, проверил бы защиту – не утопили бы батареи, не поленился бы сделать стекло из жести – не продуло бы ему этот самый «узел перемещения», а были бы батареи – вышли бы на связь и, глядишь, не было бы никакого вертолета и этого позора. Ну что за натура такая! И с комбижиром – какая печенка выдержит, когда его даже мыши не едят – там нефть одна, а он на нем целую неделю хлеб жарил. Ну годик достался! Теперь, не дай бог, случись что – и вертачину-то не вызовешь...

Потом вошел Серега, захотел чаю и вывалил на стол фигурные печеньюшки. Потом они выпили, разговор постепенно перешел на излюбленную тему работы, и Серега, который, чувствовалось, был теперь полон каких-то новых соображений, все наседавал на отца:

– Вот ты, батя, все сам делаешь, а на хрена, скажи, тогда профессионалы нужны?

Иваныч отвечал, что, мол, рад бы и не делать, да кто ж за него сделает, и вообще, какой ты мужик, если ничего не умеешь, а Серега, ударяя на «да», говорил: «Да вы че такие-то? Вот ты с “бураном” копашься, а любой механик все равно лучше тебя шурупит и так его сделает, что тот через два часа как чугунок стоять будет! Вот у нас Петя – на хрена он тогда техникум кончал? Пусть он тебе и делает, а ты б ему платил – и от работы не отвлекался бы, и техника бы лучше ходила, и Петя бы при деле был. Каждый своим делом должен заниматься!» – уже почти орал Серега, раздраженно перебирая пухлые буковки и рыбки печенья.

Иваныч тоже все больше раздражался, чувствуя, как втягивается в какой-то пустой разговор, зашедший теперь уже о свободе вообще, причем по-иванычеву выходило, что свобода – это когда все умеешь и ни от кого не зависишь, а по-серегиному, когда просто много денег.

– Ладно! Как чугунок... – кричал Иваныч. – Ладно! Я хоть худо-бедно сам делаю, а ты пол-лета Петю прождал, а потом вы с ним так движок перебрали, что я до сих пор бутылки из мастерской выношу, а буран как стоял, так и стоит. Как чугунок...

Серега, не слушая Иваныча, орал свое:

– Взял, мужиков нанял, сам в тайгу, а они тебе дом рубят!

– Ладно! – продолжал Иваныч – Если б была у меня здесь мастерская, этот сервис твой гребаный, что бы я, думаешь, мозолил бы мотор этот, как проклятый под угором, таскал бы его, падлу, взад-передь!.. Сдал бы его на хрен, дал бы пару соболей... Вообще... Заколебал ты меня, Серьга, в корягу! – кричал Иваныч, еще больше злясь, потому что сам не верил в то, что говорит.

– Батя-батя-батя, мозга не канифоль, – подняв палец, быстро заговорил Серега, – ты если б и в городе жил и зарабатывал, и машина у тебя б была, хрен бы ты на мастерскую забил и сам бы с ней копался, как... как всю жизнь копался, и за эту люблю я т-тебя... не знай как... – Голос Серьги дрогнул и он крепко зажал большую чубатую голову Иваныча согнутой в локте рукой и ткнулся лбом ему в висок. А потом налил, и они подняли кружки, и, когда отец выпил, Серега протянул ему китообразную печенюжку: – На вот кита тебе, – и так улыбнулся, что еще долго светло и хорошо было на душе у Иваныча.

В декабре Поповы еще по разу проверили капканы и поехали в деревню. У Коваленки они грелись и пили чай, а Вовка сидел на железной кровати, обдирая соболя, и по-хозяйски улыбался, а на стене висел портрет крашеной певицы из журнала с его припиской:

Ты как будто вся из света,
Вся из солнечных лучей.
Мы с тобою до рассвета —
Сказка тысячи ночей.

У Черного мыса они встретили Славку-Киномошенника. Он вывозил лодку. Приходилось все время ждать отстающих собак, и Серега остроумно сообразил посадить их в «бардак» лодки, громко хлопнув крышку с криком: «До связи!» Правда, потом на кочке люк открылся и собаки радостно выскочили врассыпную, но это было уже возле деревни.

Весной Иваныч в который раз неважно себя почувствовал и поехал в район, в больницу, где вдрызг разругался с главврачом, толстым холеным человеком по фамилии Тришкин, которого все звали Тришкин Кафтан. Тришкин, не раз, казенно выражаясь, использовавший выделенные министерством летные часы для посторонних целей, почему-то не мог простить Иванычу осеннего санзадания, грозил, что заставит оплачивать и, выписывая направление в краевую больницу, имел такое выражением на холеном бабьем лице, будто делал Иванычу великое одолжение, а потом презрительно-авторитетным тоном заявил, что, мол, нечего здесь сидеть с такими болезнями и морочить людям голову и раз так – уезжать надо в нор-

мальный климат и прочее, от чего Иваныч пришел в бешенство и сказал Тришкину все, что он о нем думает.

Потом был Красноярск, обследование, анализы, тест на велосипед, называемый балагуристым дедком, соседом по палате, «велисапедом», потом был диагноз ишемия, потом Серега уехал, сначала ненадолго, а вскоре совсем, причем как-то так поставив вопрос, что он не бросал отца, а, наоборот, ехал в город «пускать корешки», потому что отцу, мол, все равно придется менять климат. Пустить корешки оказалось не так просто, но Серега терпел, жил в общежитии у приятеля, с которым они торговали сцеплениями от маленьких японских грузовичков, а потом, используя свои владивостокские связи, затеял с этим же приятелем какое-то уже другое дело.

4

По сравнению с общей бедой, когда твое дело жизни оказывается ненужным сыну, сам отъезд Сереги был пустяком и почти не огорчил Иваныча, он даже испытал облегчение – можно было спокойно и не стыдясь чужих глаз подстраиваться под новые условия. В особо тяжелые минуты Иваныч думал о Рае, чувствуя какое-то трогательное тепло, представляя, как она сидит рядом с ним, и это одно время помогало, а потом как-то исчерпало себя: нужно было решать что-то внутри себя, и если бы Рая даже была жива, ее присутствие и поддержка все равно помогли бы до какой-то границы. Однажды дело приняло неожиданный поворот – Иваныч вдруг вспомнил Большеротую Ленку и с каким-то злорадным сладострастьем представил ее выложенное мягкими мышцами тело, длинные смуглые ноги, бедра, плечи, ее губы и тяжелую линию челюстей, всю ее сильную и теперь особенно жесткую в своей правоте красоту, и все то, о чем никогда бы не позволил себе думать и чему был обязан только этой минутой отчаяния, единственным достоинством которой было сознание того, что никто никогда не узнает, о чем он думал. И вот разочаровавшись в этих разовых средствах спасения, он нащупал в себе в общем-то не новое, но единственно прочное ощущение – это ощущение достойно прожитой жизни и необходимости такого же достойного конца. Самой смерти Иваныч не боялся, но в некоторые промежуточные моменты между приступами ощущал в себе унижайшую панику расставания со всем этим любимым миром, который, самое досадное, становился с каждым годом все понятней, родней и благодарней при правильном обращении. А теперь он вдруг как-то очень хорошо почувствовал, что ведь дело-то обычное, ведь не первый он, ведь все те русские люди: плотники, печники, охотники, опыт которых он так берег и с такой любовью продолжал – все они в конце концов тоже умирали и тоже стояли перед этим вопросом, и что, если он видел смысл своей жизни в следовании их опыту, стараясь держать масть мужика с большой буквы, то это опыт-то не только плотницкий, печницкий, охотницкий, а самое главное – человеческий, самый ценный, потому что человеком труднее быть, чем хорошим охотником или плотником – вот оно как... И так спокойно и твердо становилось у Иваныча на душе от этой мысли, что больше уже ничего не тревожило, кроме, конечно, Сереги.

Действительно, Иваныч как-то прискрипелся, и уже не один год прошел с отъезда Сереги, и сейчас эта стройка так неуклонно, хоть и медленно, приближалась к завершению и, действительно, будто стальной прут, выравнивала его было просевшую жизнь. Очень нравились Иванычу выстроганные стены, нравилось то, что на ту, где полук, он не поленился отобрать осину, чтоб смола не лезла в волосы, и несказанно радовала янтарным перистым рисунком отшлифованная потолочная балка со снятой фаской и овальным глазком сучка. «Все-таки все от земли», – с одобрением думал Иваныч, заливая фундамент, куда маленький Колька закидал специально собранные водочные бутылки, – все от нее, и дерево, и бутылки эти, и железяки все, – сопел Иваныч, глядя, как одним единственно ровным образом устанавливается в квадрате опалубки зеленоватое зеркало раствора, – «все от нее, и раствор этот, и кирпич, и глина,

все оно так, все это понятно давно, непонятно только». – Иваныч, кряхтя, выволок в дверь пустую ванну от раствора – «непонятно дурость людская откуда берется. А главное, что этот “Матросов” как всегда, под утро припрется, и выезжай к нему, бегай по трюму, как ужаленный, ищи этого Славку. И будет он нескоро, а икра пропадет, а послать надо литра три. Так что хорошо, что Ленька едет. И рыбу увезет и икру. А главное, что это уже надежно».

В самом деле, было удачно, что Ленька ехал на знакомой побежимовке²⁰ в Красноярск. Самоходка простояла целый день, он не спеша погрузил флягу и икру и даже посидел в каюте с Ленькой и Лидой, его молодой женой, новым фельдшером, впервые за два года вырвавшейся в короткий отпуск. Правда, пить по случаю их отъезда он не стал, на что Лида с профессиональным одобрением сказала: «А вот это правильно». Но, сойдя на берег, с удовлетворением вычеркнул из сидящего в голове списка еще одно дело и вернулся домой в хорошем настроении.

Так все дальше и шло. На следующий день он уже начал класть печку – своей особой конструкции, двухтопочную каменку, где камни лежат на тракторных траках над одной из топок и прямое пламя раскаляет их добела за полтора часа. Работал он уверенно, уже зная все причуды своего здоровья, по-пустому не нагружая сердце, но и особо не позволяя себе расслабляться, и вообще чувствовал себя, как мотор, у которого было перехватило горючее, но который вот-вот уже профукается и попрет дальше. Через день он дошел до разделки и установил высоченную колонковую трубу, заранее привезенную с брошенной экспедицией подбазы.

На пол у него давно была приготовлена пятидесятка, с ним он управился быстро – приятная работа, и еще несколько дней ушло на дверь и косяки. Доски тоже были готовы уже давно и дверь, самая главная и ответственная часть любого дома, с которой он, правда, провозился два дня, получилась отменная: четыре желтые, как сливочное масло, зашпунтованные доски-пятидесятки, согнанные с едва видимыми зазорами, намертво стянутые двумя косыми прожилками и схваченные с торцов врезными планками.

Меж тем дело шло к осени, намечались новые дела, и Иваныч, управившись с полками, лавками и проводкой, решил побереечь силы и предбанник отложить до весны, вкопав сейчас только столбы, чтоб не долбить потом мерзлоту.

Что печка удалась, он понял сразу, еще когда только попробовал топить.

Стояла сырость. В пятницу после дождя все было серым, только желтела лужа на дороге под угором, и серела волна на Енисее, а над ней туча с размытым ватным краем, и белела под тем берегом полоска зеркальной воды, а вверху, в пятнадцати верстах светился освещенный солнцем свежо-зеленый мыс. Но что-то происходило, и в субботу с утра уже стояла ясная, почти осенняя погода с легкой, очень синей рябью едва раздувающегося севера. Иваныч съездил выбрал самолет и до обеда провозился у залитого слизью разделочного стола, складывая в таз розовые в прожилках желтого жира пласты осетрины, в то время как из черного собачьего ведра огромная голова с догорающими глазами продолжала судорожно выдвигать пластмассовый, похожий на кусок трубки, рот.

Посолив и спустив рыбу в ледник, Иваныч перекусил и, часок отдохнув, встал и не спеша натаскал воды в баню. Потом, чувствуя почти детское волнение, как перед долгожданным событием, наколот самых сухих, почти каменных березовых дров, заложил под каменку и поджег тонко нащипанной лучиной. Печка разгорелась без единой струйки дыма наружу, слышались только треск занимающегося дерева и торопливое биение пламени за плотной чугунной дверцей. Иваныч вышел на улицу и долго глядел на трубу, из которой проворно и неопрятно валил густой сизый дым. Когда он снова подошел к бане, труба гудела, как самолет, и крепчающий северок загибал над нею хвост расплавленного воздуха.

²⁰ Побежимовка – тип самоходки (от Побежимово, где их делали).

Камни уже были малиново-красными, закладка прогорела и он кочережкой утолчал часть углей в плиту и заложил теперь в обе топки. Дав прогореть и поймав момент, когда угли еще сочно переливались пламенем, а камни были почти белыми, он закрыл выюшку. Вода в баке уже всю кипела под крышкой. Он запарил в тазу пару веников и сходил домой за чистыми вещами и полотенцем.

Не спеша раздевшись, он вошел в баню. Там было жарко мягким со всех сторон охватывающим жаром. Он снял и положил на лавку сразу накалившийся крестик, погрелся на полке, мгновенно покрывшись мелким бисером пота, передохнул на улице, вернулся, надел шляпу и верхонки и, подождав, слегка поддал из ковшика. Камни свирепо выбросили струю пара и сразу мутно потускнела лампочка в самодельном плафоне-банке. Иваныч прикрыл каменку и забрался на полочку. Сразу сухо шибануло по носу, жигануло мочки ушей и тут же расплылось жарким блаженством по всему телу. Он посидел, кряхтя, отчаянно морща лицо, поддал еще пару раз, достал из таза мягкий распаренный веник, стряхнул его и провел по воздуху рядом с плечом, которое тут же обожгло горячей волной, потом начал не спеша хлестаться, сначала сидя – с наслаждением отмечая, как хлестко загибается вокруг плеча веник, потом лег на спину, еще похлестал по груди и рукам, а потом задрал ноги и отходил бедра, икры и с особой силой пятки, стараясь, чтоб прошло через толстую кожу и бессознательно повторяя дедовы слова: «Пятки – первое дело». Потом слез с полки, сунул веник в таз и вышел на улицу. Приятно сипело в горле и свистела кровь в висках, а по всему телу будто бежали, покусываясь, тысячи муравьев. Он сидел на свежестроганной лавке и глядел на Енисей, по которому уже всю переваливались медленные валы. Отгребавшийся от берега мужик на крашенном сизой краской «крыму»²¹, торопливо уложив весла, завел мотор, включил реверс и, бросившись к штурвалу, прибавил газу и медленно поехал вдоль берега, тяжело разбрасывая белые пласты брызг.

Иваныч отдохнул и после раздумий поддал еще раз, с удовлетворением заметив, что настоя пара несколько не ослаб, а даже еще и будто окреп какой-то обложной крепостью. Он еще похлестался, чувствуя какую-то необыкновенную легкость во всем теле и особенно в горле и в груди и еще немного выдержав себя на крепость, вышел на улицу и снова долго глядел на Енисей, а потом вымылся и уже в доме лег без рубахи на диван, раздумывая, выпить стопку или нет. И решил, что нет, потому что никогда не испытывал такой почти детской чистоты. «Не зря горбатился», – подмигнул он сам себе, а легкость все продолжалась, какая-то даже сухость в груди, и в голове тоже было сухо и мягко, словно память отмякла, и свободно неслись, будто промытые воспоминания, и все, как на подбор, такие важные и знакомые: вот Рая завершивает зарод и последний пласт сена точно и аккуратно ложится в ямку на спине зарода, вот Серега протягивает китообразную печенюшку и нет на него ни зла, ни обиды, пусть живет как знает... и еще много всего другого... И так хорошо и ровно дышалось Иванычу его освободившимся от копоты нутром, что как был он без рубахи, так и вздремнул на диване.

А в это время все раздувался север, и что-то происходило с погодой, какая-то большая осенняя перестановка, и тетка Афимья, старый гипертоник, уже в четвертый раз просила племянницу измерить ей давление, а Иваныч уже не спал, а, тяжело дыша, лежал на диване, сжимая в кулаке хрустящую таблеточную упаковку, и, поглядывая на свои в багровых рубцах плечи, чувствовал, что перестарался со вторым разом.

А потом настала ночь, а сжимающая и давящая боль за грудиной все нарастала, и все было понятно – и что Лиды нет и придется обойтись без укола, и что Тришкин есть Тришкин, и что надо съесть еще таблетку и дотерпеть до утра или, на худой конец, дойти до Кольки, если совсем тоскливо будет, и он еще долго лежал, а потом встал и, выйдя во двор, вдруг упал, как подкошенный, и мертвой стружкой крови ушли в землю все обиды, раздражение, и ручейком

²¹ «Крым» – название лодки.

расплавленного воздуха отлетела к небу душа Иванныча, никогда не бывавшая такой чистой, как сегодня, а за окном уже занималось утро и серебрились в синеватых листьях капусты слитки ночной росы, и Колька, собираясь с сыновьями на покос, сталкивал лодку.

Им оставалось поставить два зарода в двух километрах ниже, и они заехали на Старое Зимовье, где косили до этого, за вилами. Николай со старшим, Степкой, и с Дедом оставались в лодке, а маленького Кольку послали к зароду. Горько пахло тальниками, пряно – отцветающими травами и сеном, и маленький Колька бежал по покосу, и волочилась соломина на отрывающейся подошве мокрого ботинка, и блестела роса на солнце, и брызгала в еще сонное лицо вода из скошенных дудок, будто говоря: может, действительно, все продолжается – пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни.

Фундамент

Сергею Михайловичу Хромыху посвящается

1

На ржавый винт от допотопного парохода походила тазовая кость мамонта, обсохшая под глиняным крутояром на выпадающей из-под весенней воды террасе Енисея. Вода катилась, и кость, мощным гнутым профилем напоминая лопасть, торчала в желтой луже среди прочих мамонтовых «запчастей»: берцовых, лопаток, позвонков, которые обваренные солнцем русские и остяцкие ребятишки тащили, пихая в мешки и запасая к лету на продажу проезжим. Кости и бивни вымывало каждый год, но нынче урожай был особенный: ураганный юго-запад пришелся на деревню в самую высокую воду – когда она перевалила каменную гряду и подошла под угор, пологий, глиняный, поросший жухлой травкой. За несколько часов его подмыло, обрушило и снесло, и теперь он обрывался рыжей отвесной стеной в трех шагах от Федино крыльца.

Наутро после шквала Федор отпустил промяться истомившегося на цепи Лешего. Пока возился с карабином, Леший дрожал и в струну тянул матерую цепь от бортобвязки и, едва спал ошейник, сорвался, как снаряд. Когда слева налетел кровный враг, серый с черной остью соседский кобель, Леший, уклоняясь от удара, метнулся по старой памяти на пологий когда-то спуск и исчез, будто смытый, а через мгновение невозмутимо выбежал далеко вниз и замер, задрав ногу над останком мамонта. Сосед уже успел наладить переломанный трап и, опасливо щупая ногой играющую плаху, спускал взваленный на плечо мотор.

Похожая беда случилась лет сорок назад, когда выпало то же карточное сочетание воды и ветра и крепким северо-западом сбрило метров тридцать угора. По легенде старика соседа выходило, что деревню спас экспедиционный катер с баржой, стоявший в тот день у берега и загородивший его от озверевшего вала. Круглый год прочно застывшая на высоком и крутом, как крепостной вал, яру, в безопасном удалении от Енисея, деревня весной в какие-то три-четыре дня оказывалась обнаженно-уязвимой для стихии, словно, засидевшись на месте, вдруг сама спускалась с угора и отправлялась в плавание.

«Вовремя строиться собрался», – глядя на старый дом, почти нависший над Енисеем, думал Федор, внешне взбудораженный, но внутренне собранный и спокойный, как бывает, когда все одно к одному. Прошлой осенью он присмотрел сруб в К. – большом селе верстах в двухстах пятидесяти к югу, куда они вскоре и отправились на лодке с другом Василием. Год назад в К. перебрался сын их товарища-охотника Валерка. У Валеркиного тестя, Сергеича, они и остановились.

Рослый шестидесятилетний Сергеич запомнился еще с осени. Весь он ширился к низу, длинное большегубое лицо раздавалось, переходя в литую шею, и дальше он только креп бутылью, гулкой обсадистой четвертью, размашистым и широким поставом ног. Плотным щитом облегла его длинная и просторная суконная куртка, серые портки в продольную полоску спадали к теплым калошам с войлочными стельками. На голове сидела черная вязаная шапка. Он принял Федю как родного, возил на «урале» с коляской, стрекочущем нехотя, вразвалочку, свел с людьми и помог за день решить дело со срубом.

На этот раз Сергеич был в байковой рубахе и в тех же портках и шапке. Когда пошли в контору выписывать трелевочник, он спросил:

– Так. Все. Готов? Шапку надел?

– Нет. А зачем?

– Ну так... солидней... – буркнул Сергеич, и только позже Федор понял, что это отговорка и дело в другом: шапка понималась Сергеичем с большой буквы, как нечто заглавное. Практическая подоплека отпадала сразу, корыстное пристрастие к шапкам лысых для густоволосого Сергеича было оскорбительным. Шло ли его чувство исстари, из сказок ли, баек, где шапкой и зайца поймают, и воду отчерпают, из жизни ли, когда шапка больше слова говорит, снятая на пороге или если смерть. А может, еще откуда – из родственности последнему навильнику, завершающему зарод, из наивысшего почета, оказываемого голове, или из чего-то связанного с прикрытием от неба, выстужающего, разверстого в непосильные дали.

Несколько раз Сергеич обмолвился про Валерку, что «вечно шапку забудет», и соседу, деду Понягину, ковыляющему восвояси с банкой браги, крикнул: «А где шапка твоя?» И когда собирались к срубу, спросил по-хозяйски, усаживаясь на мотоцикл:

– Так, ребята. Все взяли? Шапки надели?

Говорил Сергеич дробным верховским говорком, уже не северным, а среднеенисейским, как в селах на тракте. Да и дома здесь были не утло-северные, рубленные под экономию дров и с оглядкой на время, отнятое от охоты, а как в размашистой и обжитой Сибири – огромные, с воротами, с громадным крытым двором, по которому Сергеич в быструю хозяйскую перевалочку ходил в носках, ставя ступни на внешние кромки и будто оберегая внутреннюю часть. Все было аккуратно развешено, разложено, канистры рядком в углу, пила с бачком, тут же стоял мотоцикл, который Сергеич выкатывал, как орудие, отворяя череду ворот. Ничего не валялось походной грудой печек, сетей, топоров, все было капитально, на одну домовито-поселковую жизнь настроенное, и вековым покоем, надежей веяло от этого бесконечного двора, от гладкого сухого дерева, от рассказа о тугунах, которых здесь не солят с кишками, как на Севере, а семьей терпеливо чистят, солят, а когда те усолеют, кладут в бак с дырявым дном и придавливают гнетом так, что тузлук уходит до последней капли и нежная, чуткая к осклизанью и порче рыба хранится крепким пластом до весны.

Из двора шла дверь и в избу, и в отдельную избенку – кухню-горницу, где готовили и ели и где поселили Федора с Василием. Туда им, пришедшим с работы, тихо и незримо подавали еду: то шаньги с брусникой, то жареную рыбу с картошкой, то еще что-то невообразимо вкусное и уместное после коряченья с восьмиметровыми бревнами. Беленая, с лавками и телевизором кухня смотрелась лучше иного дома, но совершенными хоромами была сама изба, куда Федор с Василием тактично не стремились, где царила Настасья Петровна и куда сам Валерка, томясь по душистой и распушившейся после бани Светланке, входил бочком, придавленный просторами.

Главными Валеркиными жалобами на новую родню было, что кормят на убой и работать не дают:

– До того заботой затыркает, – горячась, говорил он про тестя, – зимой чуть мороз – пикнуть не успеешь, сам шапку на тебя напялит да еще и уши прижмет. – И Валерка возмущенно показал, как Сергеич приплюсчивает ушами шапки его раздобревшую морду, – как ребенку! Чуть колун ли, «дружбу» схватишь – из рук рвет. Ничего делать не дают – да че такое-то!

На сруб Валерка накинута с жадностью, в перекурах рассказывая о чудной К-ской жизни и о семействе Сергеича, каждый год снимавшей по семьдесят мешков картошки, половина которой скармливалась непутевым подопечным, среди которых главное место занимал бичеватый дед Понягин. Приплетясь с похмелья, стыдливо называемого им «давлением», и втащив стопарь, он пускался в рассказы:

– Сiju уток караулю на озере. Две сели. Черношей. Ага. Тут заяц чешет, я подождал его, с утками спарил и шарахнул всю компанию. Полез уток доставать, сапоги залил. Воду стал выливать: в одном оконь, в другом сорога. Попрет, дак попрет! Или: – Раз рыбачил на озере, в деревню уехал рыбу сдавать, да и загулял. Приехал, рыба вся пропала в сети. Я ее на берегу развешал – пусть вороны выклюют, а сам в избушку спать. Просыпаюсь – собаки орут. Че

такое? Выхожу – медведь на берегу. Ревет – сеть сжевал: поплавки-то из ж... вышли, а кольца в зубьях застряли!

Чаще рассказывал о прошлой жизни, конечно же, одновременно и залихватской и налаженной: все-то у него тогда было – и жилье доброе, и баба, а уж инструмент-то! «Што-т-ты, парень: топоры – бритвенный строй!»

Прошлую осень, откатавшись с Сергеичем по здоровенной, разлапистой деревне и ударив по рукам с хозяином сруба, Федор взял водки, и, едва они засели с Сергеичем в горнице-кухне, как завалились мужики с самоходки, тоже с выпивкой, и вскоре Сергеич сказал, что пойдет «позанимается ребятами», «ты отдохни перед дорогой», и видно было, что заниматься какими-нибудь ребятами – его основное дело, несмотря на то что работает он чекировщиком, а всю жизнь тракторист. Куда-то они ездили, что-то доставали, меняли, покупали, ягоду ли, рыбу, и Сергеич заезжал, проверял Федора и снова исчезал.

Отправить человека было для него не меньшим делом, чем срубить баню, снять картошку или поставить дрова. Беспомощный, закинутый дальним ветром и никого в селе не знающий проезжий под руководством Сергеича менялся неузнаваемо. Переделав дела, побывав в той и в этой конторе, достав тугунов, все упаковав, он и сам казался упакованным заботой Сергеича, как посылка, и уж сама простота и завершенность была в собранном, когда он стоял с узлом на палубе. И каким передавали его дороге в руки, такой она и бывала.

Сруб поначалу задавил размерами, но глаза боятся, а руки делают, и едва подалась сложная система стропил – со скрипом, будто зимний лед, как дело и пошло. Бревна покороче кидали, длинные спускали на веревках. Под вечер перекуривали, озирая округу. С заливных лугов, лежащих меж селом и Шаром, необыкновенно шумно и повально ломилась по дворам скотина, вслед за ней битый час молодые балбесы носились на мотоциклах, а потом откуда ни возьмись вынырнула неурочная коровенка с бородатым мотоциклистом на хвосте. Оба скрылись за забором: виднелись только спина коровы и высоко прыгающая на кочках отдельная и серьезная кержацкая голова. В конце концов корова повернула назад, и снова над забором пронеслась спина и пропрыгала голова, и оба исчезли за тем же сараем, откуда явились.

К. было своего рода и столицей, и перевалочной базой кержаков: рядом впадала река с большим староверским поселком в среднем течении и бесконечным числом заимок, откуда, насидевшись за зиму, вываливали на непомерных лодках вместе с детьми и коровами кержаки и открывали гулянку. Продавали свежесобранные бочки, весеннюю ондатру, готовые срубы, закупали бензин, соль, муку. Чем ближе к миру жили кержаки, тем сильнее были им опалены, испорчены, но если на Енисее, в береговых поселках, частенько, кроме бород да своего говорка, ничем уже и не отличались от обычных жителей, то в дальних речках еще кое-как сохранялись, а в совсем удаленных монастырях закон соблюдали со всей строгостью. Монастырям, по слухам, помогала братия из Америки ли, Канады. В К. тоже жил один по кличке Американец, переселенец из Орегона. Федор несколько раз видел его бредущим по деревне в ворсистой, ярко-зеленой робе на зубастой молнии – круглолицый румяный крепыш с рыжей бородой. Позже Федор встретил его на берегу в компании молодых кержаков, вокруг которых вились совсем ребята с ростками бород, чуть пьяненькие, кто-то с сигареткой, кто с матерком на устах. Час спустя Американец оцепенело брел к ним от магазина с бутылкой.

Каких только посуды не стояло у берега! Деревянные, из железа простого и гофрированного, с подвесными моторами и тракторными дизелями. Каких приспособлений и изобретений здесь не было, все можно было разглядеть, изучить и принять на вооружение: дистанционные управления из жердей, из тросов, разнообразные передачи и многое другое. Голоторсый бородатый здоровяк с крестом на шее возился по колено в воде с винтом, ему кричали из рубки:

– Слышь, Сафон, а че, ежели редуктор?

От их вида, повадки и говора, от белоголовых ребятишек, девчонок в платках и длинных юбках, от баб с прямыми лицами и ясными глазами веяло исконнейшей Русью, и казалось

странным, что именно это старинное сословие здесь самое подвижное, кочевое, цыганское, без конца бороздящее Енисей, Тунгуску, Елогуй, Дубчес и Сым, переселяющееся с Алтая, Верхнего Енисея, Дальнего Востока в вечном поиске тихой и кормной тайги. Встретил Федя на одной речке монастырских рыбаков – три деревяшки, связанные веревкой, и шесты в руках. В версте от них шкондыбал на лодчонке бородатый дед. «Рыбицы че-то умалилося в речке», – пожаловался он и по просьбе Федора набросал гвоздем на куске бересты выкройку бродней, сопроводив ее подписями: «подоша», «рампочка», «переда»...

Сама деревня К. – старинная, 1623 года закладки, стояла на левом берегу Енисея, посреди заливных лугов, первых с севера, и громоздилась амбарами, коровниками, овощехранилищами, но не живыми, а безглазыми и страшными после недавнего всеобщего развала, в довершение к которому прошло и наводнение. Енисей в Щеках сперло ледяным затором, ударило тепло, и, когда вода прибыла, стопив избы, с Енисея в Шар потащило двухметровый лед, которым все попавшееся на пути сбрило под корень, в частности, целую улицу кирпичных домин, понастроенных крепкими мужиками. От них остались одни зубья, а в купленный Федором сруб врезалась единственная льдина и слегка сдвинула его на фундаменте. Хозяин, неторопливый, похожий на бобра мужичок, не спеша снял крышу и собрался уезжать. О наводнении напоминали особая повальная серость дерева, разметанного по берегу в нечеловеческом беспорядке, винтом скрученные дощатые стены сараев, вееры пепельных досок, просевшие избы.

Деревня удивляла разномастностью строений. То тесно тянулись один в другого переходящие домишки, едва разделенные воротами, – почти столетние, маленькие, со ставенками и наличниками, на разные лады, вразнобой перекошенные и тонущие в земле по окна. То высились хоромы, как у Сергеича, рубленные из мачтового сосняка. Леспромхоз валил крупнейший в стране бор и продавал туркам. На девять метров шкуренной древесины допускалось не более двух сучков, такое бревно звалось «туркой». При всем турецком товариществе заработки были на удивление скромны, и главным для людей оставался доступ к живому телу хозяйства, ярким выражением которого был лом Сергеича, сваренный из траковых пальцев от трелевочника.

Улицы К. были переполнены мотоциклами, машинами, тракторами – заводскими и самодельными самых несусветных конструкций. Особенно запомнился длинный, низкий, размашисто тарахтящий – без капота, с голым, в кишках, двигателем и сутуло сидящим дедком в очках. Тут же бродили какие-то бородатые то ли бичи, то ли кержаки, то ли бичи-кержаки, полз потусторонний дед с ржавой бородой – заросший седым ворсом рот был обметан бурым табачным дыханьем, как чело берлоги. И невзирая на наводнения неслась телега на резине с крепким, до замшевой глади упитанным лошачком, и в телеге во весь рост стояла с вожжами в руках девка, пружинисто приседая на ухабах, и тоже будто подрессоренная.

Зимой оживал зимник, переплетенный с усами лесовозных дорог, и проворотливые мужики начинали ездить в Красноярск и Енисейск за товаром. Перли, все в тросах и запасаках, белые «уралы» и «батыры», штурмовали проклятую Халалевскую гору, срывались с колеи, зарывались по мосты и откапывались, выбирались на твердое и уносились, сыто коптя солярой в морозную ночь, и сзади по углам громадных заиндевелых фургонов тлели сквозь снежную пудру красные габаритные огни. Ближе к весне по сверкающему морозцу проносились гипсово твердым трактом «мистраль» и «сурфы» тропических окрасов с отчаянными молодцами в жарких кабинах и, подкатывая к пельменным, с мощным и сухим хрустом крошили снег тугими и непомерными колесами в грубой насечке, а как-то раз возле Дубчеса попалась навстречу Федору двумя мостами гребущая допотопная «тойота-спринтер-кариб», до отказа забитая бородатыми кержаками. И все шевелилось и путалось, и как мешался на зимнике проезжий люд, так и весь народ, рассыпанный тонко и текуче по сибирской земле, перекачивался, как ягода по дну огромного туеса.

Сруб разобрали за два дня. Трелевочник, мощный «алтаец», густо стрельнув соляркой, взваливал на себя пучок, и его тут же опоясывал проволокой Сергеич, откусывая лишнее специально приваренной с каждого бока гильотинкой и накрепко скручивая концы. Тракторист Вовка сидел за рычагами, показывая отсутствующим видом, что его задача лишь не мешать трактору двигаться расчетливыми и быстрыми бросками. Сергеич велел взять пива, которое, с Вовкой едва пригубив, влил в ребят, так что вышло, они поставили сами себе за смазку событий. Спяťся в синий и сонный Енисей, Вовка опускал площадку, сбрасывал трос, и сухой, как пробка, лес рушился в воду и лежал, свободно и облегченно покачиваясь, пока его задумчиво приходовала даль.

Пучки в натяг прохлестали скобами на два троса, и они, собранные в единую массу, коротко и послушно ходили, поскрипывая, в то время как задетая ногой струна троса пела, как настроенная. Настеленный поперек полубрус и доски от обрешетки придавили пятью бочками бензина и бочкой масла, забросали железом с берега – тросами, скобами, траками.

Валерка, налившись кровью, давил с берега пружинящим багром, жал с плота Вася, уткнув шест в хрусткое дно, Федор, уперев лодку в речной пучок, работал встреч течению мотором, и медленно, тяжело, но неумолимо отделился плот от берега, и, раз обозначившись, полоска серебра все ширилась и ширилась, и все набирал плавный скользящий ход отступающий берег с двумя фигурками, пока Федор, работая уже в середину плота, не дотолкал его до фарватера и не заглушил мотор. Все: и костоломная война с бревнами, и нервотрепка с трактором – все отлегло, отпустилось многоверстным вздохом облегчения. Осталась только лаковая гладь в просверках солнца, синяя даль берегов и морское чувство полной такелажной собранности и готовности к любой дороге, когда все под рукой: и веревки, и троса, и лома, и топоры, и скобы, и железо для костра и навеса. И все эти предметы, каждый из которых и по отдельности необыкновенно хорош, будучи объединены сдвинувшимся делом, радуют сердце, по края наполняя жизнью.

Много всего было в той дороге. Свальное течение за тальниковый островок, куда их едва не утащило и откуда бы понесло по протокам и забросило бы невесть куда к Пантелеевским ярам. Была тихая и светлая северная ночь, с медленно проплывающими синими скалами и невообразимым небом над далеким волнистым хребтом, врезанным в еще закат или уже рассвет с рвущей душу отчетливостью; и собравший вокруг себя лиловое облачко сумерек лоскут костра, то в грусти клонящийся, то порывисто взлизывающий матово-черный бок чайника. И студеное утро, и на фоне ребристых скал встречная натужно тарахтящая самоходка с огнями, особенно выразительными именно из-за полной дневной белизны окружающего, и Щеки, где в огромных и живых уловах, покрытых гладкой и скользящей кожей, вдруг начинала из глубины выворачиваться вода и сначала дыбилась клубящимся бугром, в котором выпуклая и неровная середка торопливо разбегалась к пенной оторочке, а затем мучительно извергалась округлыми непромешанными слоями стекла и серебра и с нарастающим грозвым грохотом переплавлялась в могучий водоворот, цепко ухвативший плот за угол, а потом затихала, чтобы снова вскипеть через одной ей ведомый период. Днем были устье огромной реки и жара, раскалившись от которой, мужики сиганули с плота в Енисей, а тот их лишь обжег и вытолкнул обратно, и они валялись на плоту под испепеляющим солнцем, а рядом проплывала с японской машиной на носу необыкновенно ржавая самоходка, и мужики с нее орал что-то дурацкое и веселое. И был север, которого они ждали и который в конце концов задул и за одну минуту перевернул небо, налил сталью зашелестевшую воду и, хлестанув ледяным дождем, утопил таежный увал в седой рванине тучи. Зазвенело, захлопало железо, крутануло плот, и мужики, пройдя еще верст десять серповидной прилуки, дошли до мыса и там в курье поставили плот на отстой. За мысом брал в лоб прямой север, катя кофейный вал, и пришлось ждать до вечера у костра, а потом снова отправляться по замирающей, замаслившейся волне.

Спали по очереди, часа по три. Бродя взад-вперед, чтобы не заснуть, выглядывая в рябющей глади попутное, еще не пристегнутое к плоту бревешко, Федор изредка вспоминал, что под ним его будущий дом, и думал о том, сколько сил потребуется для того, чтобы эта груда дерева стала долгожданным жильем, чтобы наконец заработала эта шевелящаяся даль и набравшие синевы стены начали бы отдавать ее, питая сон хозяина надеждой и покоем.

Еще он думал о Василии, у которого редкий тям ко всяким увязываниям, утягиваниям, вообще обустройству, вспоминал, как тот, невысокий, но катастрофически здоровый, споро укладывает пихтовый лапник под навес у костра, или по приезду в избушку разбирается со старыми ящиками, роется, что-то рвет, приколачивает или дерет мох так мощно и ухватисто, что напоминает медведя, зарывающего мясо, и кажется, вот-вот зафыркает или взревет.

Но больше всего он думал о Сергеиче. О ночлеге в его доме, о еде, заботливо приготовленной и со сказочным постоянством оказывающейся на столе в пустой и чистой горнице, о походах в контору и поездках в гараж, о тракторе и всей той мелкой и крупной помощи, то с инструментами, то с маслом, то с бочками, которую Сергеич оказывал, видя его во второй, а Васю в первый раз в жизни. О том, как все время спрашивал, не нужно ли еще чего, и на отговорки и отмашки вдруг вспылывал, как на безглазых: «Мне же вас собрать надо!» О том, как именно Сергеич, узнав, что Федор собирается строиться, предложил сруб через Валерку, и о нагоняе, который получил за их прошлогодний разгул от Настасьи Петровны.

В этот приезд Федор тоже выставил бутылку, но Сергеич, потирая грудь и морщась, поставил три стопки – Василию, Федору и Валерке, а сам отказался: «Болею, грудь ломит, не знаю, че такое». Потом началась работа, и чем дальше, тем мучительней гадал Федор, как отблагодарить Сергеича, который, перестав пить, отрубил самый простой выход, потому что тем и хороша водка, что вроде и не оскорбляет прямым расчетом, но ставит веселую, увесистую и справедливую точку на деле. Мелькала мысль что-то купить в магазине, конфет ли, вина, бананов хозяйке, но все было нелепо и ни в какие ворота не лезло, и Федор успокоился на том, что обязательно пошлет рыбы... И чем больше думал он, как рассчитаться, тем больше понимал, что никакой расчет с этим человеком невозможен и что единственный путь – просто принять добро как есть и что трусливая торопливость, с какой люди стремятся закрыть счет сродни боязни сквозняка, и что Сергеич, помогая людям, лишь дает текущее добро на передержку, зная, что в приоткрытой душе оно не усидит и попросится в дорогу.

Когда прощались на берегу, стояла почти летняя жара. Сергеич в черной вязаной шапке приехал с огорода, где сажал картошку. Он осмотрел собранный плот, что-то спросил и, удовлетворенный тем, что придрататься не к чему, протянул руку, и Федор пожал ее с внимательным упреком:

– Как я с тобой рассчитываться-то буду?

– Брось, – махнул рукой Сергеич, – Земля круглая!

2

Трактористы Фединой деревни являли собой отдельную касту, жившую параллельной жизнью, понять которую было нельзя. То они пили, то вдруг не пили, и нужно было разбираться, по правде они не хотят пить или только притворяются, то были заняты на разгрузке, то на загрузке, то разувались, то обувались, то вязли в дразге с начальником, пузырившейся вокруг соотношения в их жизни оклада и калыма, и тогда работа вставала, начальник бегал зеленый, а трактористы сидели и пили на пилораме в великом протесте и великой оппозиции. Был среди них некий Ленька по кличке Швомаем, имевший привычку по любому поводу высоко, раскатисто и деревянно похохатывать. Отличный тракторист с гоночной жилкой и беспредельной верой в технику, он, будучи мастером короткой атаки, любил взять препятствие

с налету и в случае редкой неудачи лишь презрительно посапывал, отцепляя засевшие сани. Обожал, выполняя маневр, своротить какую-нибудь важную трубу.

Однажды Швомаем на глазах у покосной бригады перегнал колесник через широченную Филимонику. Надев трубку на фильтр, он ломанулся в пережат, бешено рубя воду перед собой крыльчаткой вентилятора. Вовремя остановившись и сняв с него ремень, он поехал дальше, и чем глубже заезжал, тем сильнее всплывал легкий передок и тем больше напоминал Ленюка всадника – трактор был без кабины. Вскоре он вовсе встал на дыбы и шатким звероящером достиг середины потока, как вдруг раздались громкие раскатистые звуки – взрев морду, трактор высоко и рыхисто подпрыгивал на камнях пережата, и над ним по ляжки в воде торжествуя хохотал Ленюка.

Пылко выпаливая обещание через минуту поставить телегу под дрова, Ленюка растворялся, и можно было гоняться за ним полмесяца, хотя невидимый трактор задорно всхрапывал то в одном, то в другом месте деревни. Потом, идя окольным путем по совсем другому делу, можно было вдруг наткнуться на Ленюку, задумчиво сидящего на бревнышке. Ни слова ни говоря, он доливал из лужи воды в радиатор и со сказочной скоростью решал все тракторные дела клиента на полгода вперед, по-братски участвуя в кидании дров и усердно корячась с бочками.

Охотникам, и без того издерганным своими многоверстными заботами, до того осточертел свехурочный гон за трактористами, что они чуть не купили в соседнем поселке «колун» – сто пятьдесят седьмой «зилец», реликтовую бензиновую трехоску на редкость простой и удачной конструкции, с вытянутым клиновидным капотом. У машины не хватало «поросенка», короткого карданчика от третьего моста. Проблем с запасными «поросятами» в районе не было, даже из растормошенной администрации пришла телеграмма: «Подтверждаю возможность отправки б. у. поросенка конца навигации. Свиноаренко». Тем не менее дело сорвалось, и после этого любое невыгоревшее начинание звалось «колун без поросенка».

На беду Федора, Ленюку за какую-то провинность сняли с трактора и вместо него работал молодой увалень Петруха. Остальные матерые трактористы тоже по каким-то причинам были устранены или сами устранились – понять это было нельзя, – и на всех трех тракторах: рыжем трелевочнике, красной семьдесятпятке и синей восьмидесятке – триедино царил вареный Петруха, причем матерые видели в этом свою особую игру и выгоду, то ли им казалось, будто они через Петруху продолжают управлять делами на расстоянии и в этом был свой шик, то ли втихаря готовили потайной левобережный тракторенок для собственных покосов. Матерые Петруху даже почему-то любили и пытались навязать эту любовь остальным, всяко его нахвалявая, рекомендуя и глядя честно с глаза – как цыган, впаривающий бракованную лошадь. Чикеровщиком при Петрухе служил воровитый и отпетый приемный Швомаемский сын по кличке Сухарь.

Повезло, что на момент прибытия плота к деревне стоял полный штиль, продержавшийся до следующего дня, пока забастовка трактористов не перешла в фазу заключительной и примирительной питвы с начальником на стратегическом плацдарме пилорамы, давно, кстати, молчавшей, откуда и были отряжены на трелевочнике Петруха с Сухарем, которые в итоге пучки выдернули, но умудрились до свинского состояния извозить бревна в грязи, одно сломать, порвать трос и потерять гак, белый и зеркально блестящий, который потом, когда вода упала, Федор им принес как некий рыцарский причиндал – подвязку королевы или стрелу героя.

Следующим этапом была перевозка бревен к месту строительства, на что ушло полмесяца: мнительный и самолюбивый начальник не давал трелевочник, заплетая непредвиденную катавасию с землеотводом. Он вспомнил о каком-то постановлении, якобы ограничивающем строительство ближе пятидесяти метров от края угора, и пока прогоняли этот пустой вопрос через район, пронеслось три недели. Дом Федор собирался поставить под крышу этой же осенью. Шел июль, и давно надо было начинать заливать фундамент, потому что первого августа

приезжали в короткий отпуск новосибирские друзья, которых кровь из носа надо было прока-
тить по Филимонихе.

На фундамент требовались люди. По уши занятые дома и на покосе друзья-охотники
были припасены на последней бросок – саму заливку, на все же остальное в таких случаях
нанимали калымщиков. Был в запасе Ромка, бывший строитель, моржеобразный здоровяк
с гулким бронзовым пузом и складчатым, как личинка, затылком, но, пока Федор ездил за
срубом, того подрядили на фундамент для клуба, который он заливал вместе с одним разжало-
ванным трактористом со сложной хромотой, по кличке Коленвал, и каким-то малоизвестным
невзрачным доходягой.

Был еще остяк Колька Лямич по кличке Страдиварий, с которым Федор договорился еще
весной, но, пока тянулась волянка с землеотводом, Страдивария с его подмастерьями нара-
хват разодрали покосники, и пришлось устроить на него целую охоту, поскольку Страдиварий
с братом Петькой жили одновременно на двух, как они выражались, «квартирах» и поймать
их было невозможно. Работали они на покосе у так называемой Мамы Чели, или Зойки Зайко,
дородной и оборотистой бабенки, говорившей «кофэ» и «фанэра» и торгующей мерзопакост-
ным спиртом. На покос их забирали с ночи, там они до изумления напузыривались и с остат-
ками пошла терялись потом меж двух «квартир». Федор долго их ловил, распутывал кровавые
следы, наткнулся на Петьку с разбитой мордой, который поведал об их чрезвычайной занято-
сти и сказал, что обязательно все передаст Страдиварию.

Страдивария звали так потому, что он делал нарточки. Что-то было, видимо, музы-
кальное в пружинистом гйбе полозьев, в скрипичной натяжке всей этой хлипкой на вид кон-
струкции, когда копылья плотно утапливались в пазы и накрепко притягивались проволокой
к полозам, попарно до каменной прочности перевязывались черемухой, стволики бортов при-
гибались к концам полозьев, все напряженные упирающиеся части последним усилием смы-
кались воедино и натянутая до звона нарта обретала струнную жесткость.

«Квартира» Страдивария и Петьки представляла собой брусовой дом с земляным полом
и въедливым табачно-перегарным запахом. В нем стояло несколько железных коек с расплю-
щенными на них фуфайками и разным выражением их рукавов, словно они с жаром что-то
обсуждали, и табуретка с кружкой воды и полной окурков банкой. Квартира была закрыта на
щепку. Здесь братья бывали редко, на лето переселяясь к матери. Мать, маленькая, еле живая
старушонка, жила в другом брусовом доме, там же жили ее дочь с детьми и старший сын. Все
неподвижно лежали на кроватях. Братьев не было.

Зато, когда им надо, они доставали тебя из-под земли, будили среди ночи, трясаясь
с похмелья или погибая на излете недопоя. Страдиварий входил, отрывисто пошатываясь, как
оживающий памятник, и, продираясь сквозь хмель с таким мужественным и судорожным уси-
лием, что казалось, его вот-вот обратно забетонирует, делал страшное лицо, порывисто ловил
руку и кричал:

– Федька! Все! Щас! Говори! Че тебе надо сделать!

– Да ничего не надо, проваливайте к бабаю!

Одолевали так, что иногда проще было придумать занятие, чем отвязаться.

– Так! Все! Бревна! (Держи меня, Петро, а то я упаду!) Лом где?

Частенько со Страдиварием таскались спокойный и упорный Юрка Тыганов и молодой
губастый и стройный остяк по кличке Негр, совсем мальчишка, уже давно приучающий к водке
здоровое и чистое нутро. Иногда следом за ними тянулся Прапорщик, невысокий, крепкий
и хитрый остяк с зелеными рысьими глазами, служивший в армии прапорщиком. Страдиварий
его не любил и орал: «Так! А этому не наливать! Он мне по уши должен и еще в моем пиджаке
ходит!» Тайгой никто из них почти не жил, все было пропито, а гуманные подачки государства
и разных комитетов только еще больше развращали. Языка тоже никто из них не знал, кроме
одного слова «уль», означающего водку.

Енисейские остяки, или, официально, кеты или кето, принадлежали к особой и древней ветви северных народностей, оставалось их всего несколько сотен – то есть чуть меньше, чем изучавших их этнографов, стада которых, облюбовав кетскую столицу Келлог, выгребали из нее последнюю национальную утварь, так что после их набегов остяки оставались без элементарных посуды и обуви, не говоря о культовых бубнах и деревянных идолах. Одна канадская экспедиция в порядке приобщения к шаманским практикам обожралась мухоморов в окрестностях Келлога, и ее несколько дней ловили и собирали по тайге остяки и отпаивали последним улем, не уставая дивиться, что в честь их деревни названа международная каша – обрывок упаковки валялся возле канадской палатки.

Страдивария уважали за пыл, за отчаянную храбрость трудяги. Был он молодой и, как все остяки, небольшой, приземистый, с широким лицом и индейской прической. Выступающий вперед подбородок и крючковатый нос придавали ему некоторую хищность, а пылающее в глазах выражение свежей трагедии делало похожим на попавшего в беду мелкого ястреба. Глаза, несмотря на маньчжурский разрез, казались необыкновенно круглыми, и в них так трепетал ужас, что они выглядели то квадратными, то треугольными.

Набегали толпой – маленькие, то ли гномы, то ли черти. Ссорились, осыпая друг друга свирепыми матюгами, тут же острили, хохотали и в устрашающем азарте сворачивали горы. Со Страдиварием всегда был старший брат Петька, в отличие от остальных остяков – смуглых, круглолицых и раскосых, с тугой скуловой натяжкой – сероглазый и белесый. Есть такие быстро стареющие остяки с белой или розовой кожей, дряблой, бугристой и будто вытравленной. Добрый и щедушный, но духом упрямый и крепкий, Петька, будучи всегда самым пьяным и рыхлым от уля, еле поспевал за несущимся Страдиварием, падал, спотыкался, вечно его чем-то приваливало, вечно приходилось его поднимать и ставить, и непонятно, чего было от него больше – проку или помехи.

Катили раз с берега здоровенную свежеспиленную листовень, толстую, бугристую, как крокодил. Дождь посыпал крутой берег с травяными кочками, железистыми потеками и непролазными тальниками. Засевшее в последней рытвине бревно наконец свортили, и оно устремилось вниз. Федя стоял с толстого конца и вдруг услышал гвалт, крики, мат, мелькнуло и несколько раз крутанулось что-то черное, и когда балан, подпрыгивая, выкатился на свободу и замер в камнях, из-под него вылез Петька, отодрав крепко подцепленную за сук фуфайку. Ощупывая руки-ноги, он мямлил: «Номальне, номальне». Пока на его избитой морде выступал из побелевших вмятин мелкий бисер крови, к нему со страшным матом и кулаками летел Страдиварий. По мере приближения мат превращался в хохот. Хохотали все. Хохотал Петька: «Ямка! Ямка! В камнях ямка! Пляильная ямка!»

Отдельно от Лямичей стоял Юрка Тыганов, или Тугун. Спокойный и рассудительный, от водки делался вязким и приставучим, как смола. Завидя жертву, заторможенно выдавливал: «Э, стой!», догонял и, если потерпевший не наддавал ходу, тормозил его и хватал за руку. Кисть у него была очень крепкой и медленной, хватал он цепко и, пробираясь по рукопожатию все глубже и удобней, говорил тоже медленно и вяло: «Ну, ты это. Дай», а другая рука – медленно и трудно топырила пальцы, пока не добивалась единственной нужной комбинации: все средние сжаты, большой и мизинец торчат. Говорил еле внятно, бухтел, слова набухали пузырями и лопались, не звуча, и тогда высвобождалась первая рука, и обе начинали всеми пальцами что-то изображать, переключать, шарить по рычагам невидимого пульта, пока не замирали в позиции – одна ладонь над другой на расстоянии литровой бутылки.

Хуже всего, если он припирался домой, – было достаточно небольшой щели в двери, чтобы он протек, как осьминог. Сильный, здоровый, не отлепить, и чуть что – корчит слезливую рожу или с медленной и холодной улыбкой кладет руку на косяк – мол, давай, дави дверь. Проникал в сени и с помощью излюбленного словечка «хоть», выстраивал цепочку: не дали

выпить – «Ну хоть закурить дай», не дали закурить – «Ну хоть спички дай», спичек не дали – «Ну хоть попить», а когда его все-таки выставляли, бубнил: «Ну хоть извини тогда».

Трезвый был умелым и понимающим дело работником. Ценился как специалист по веткам – легким долбленным лодкам. Однажды новосибирские друзья заказали Федору для какого-то богатея ветку. Ветка требовалась выставочного качества, один Федор взяться не решился и предложил дело Юрке. Письмо из Новосибирска пришло после ледохода, в пору, когда ветками уже не занимаются. Веточный сезон – апрель, тогда по насту можно легко вывезти заготовку, тяжелый осиновый кряж из тайги, а потом спокойно тюкать возле дома. Это удобней, но и конец мая ничем страшным не отличался. Можно найти и свалить осину, сделать ветку на месте, пожив несколько дней в тайге, а потом унести ее на берег к лодке, что Федор и предложил Юрке, особенно упирая на цену:

– Отвалят, сколько скажешь.

Юрка сделал недоуменную рожу, пробурчал что-то вроде:

– Да ну на хрен, кто щас делат? Раньше бы подошел.

– Да ты че! – вспылil Федор. – Живые деньги, четыре дня делов – и мы дома с веткой.

– В лесу, что ль, делать? – возмутился Юрка. – Ну на хрен, комар заест.

3

Федор искал Страдивария по всей деревне, разузнав, где пьют, и держа в голове карту попок, с пульсирующими изолиниями, голубыми, где пили спирт, желтыми, где брагу, и желчно-зелеными, где все подряд. Обежал все точки и побывал даже на дне рождения Коленвала, протекавшем на лужайке возле аэродрома. Коленвала там уже не было, сидел, кляня носом, тети-Гранин Славка, дядя Леня Губы-Шифером, еще несколько мужиков, да еще торчала чья-то голая незнакомая ступня, длинная, круглая, как палка, в толстой матово-серой шкуре, с янтарной прожелтью по ободку пятки, с восковой огранкой мозолей и длинным, очень желтым и толстым ногтем, будто сделанным из старого и рыхлого сыра. Владелец ноги неподвижно и скрюченно лежал, с головой укрытый курткой. Страдивария здесь никто не видел, но Федора порадовали новостью: Ромка наконец залил фундамент. Словно в подтверждение, дернулась, стрясая налитого комара, нога и шершаво чиркнула ногу Федора. На протяжении всего разговора, обутая в новую, с широким резиновым пояском туфлю из очень плотной черной материи, нога Федора соседствовала с незнакомой ступней. Это соседство вызывало сложное чувство: жалости к голой ступне, удовольствия от того, что его нога не гола, не избита, а обута в удобную и крепкую обувь, и брезгливый страх за эту обувь при мысли, что такой ступне почему-либо придется в нее втиснуться.

Федор рванул к Ромке, с первого раза не застал, а когда пришел во второй, тот курил возле кучи дров:

– Не, Федул, не получится, дел по горло.

Федор было развернулся идти.

– погоди, – оторвавшись от сигареты, Ромка задержал в приоткрытом рту дым и, сыграв им наружу, быстро вернул молочно-синий язычок обратно и после паузы сказал: – Знаешь че? Бери Ваньку. Лучше никого не найдешь. Он у Коленвала гудел, но это когда было. – Почесав пузо со звуком, в котором слились заскорузлый шелест золотой поросли и тугой отзыв налитого нутра, он добавил: – Так-то он у Бесшаглых.

Этого Ваньку Федор видел с Ромкой на фундаменте и прежде пару раз – невнятно торчащим среди компании, исчерпавшей ресурсы и застывшей на перепутье. Никогда Федор к нему не приглядывался, а если и приглядывался, то сквозом, в таких лицах всегда есть что-то чуть знакомое, и взгляд проходит через них, как через оправу.

Семка Бесшаглый, бывший сосед Федора, жил на другом конце. Прозвание его происходило от слова «шаглы», то есть жабры, и означало некую невразумительность и малохоливость, и, надо отдать должное деревенским кличкодателям, малохоливость эта касалась нутра, а не внешности, и на вид Семка был парень как парень – с руками, гнедыми усиками, крепким бритым подбородком и словечком «понял», которое мог вставлять через слово: «Иду я, ты понял, а навстречу медведь». У него был дикторский голос, говорил он веско, готовыми и сильными оборотами, а если доводилось сесть в лужу, привлекал на помощь и вовсе вековой запас проверенного и хлесткого слова, хотя вокруг перемигивались, и даже Страдиварий кривился: «Парод-дия».

Есть два общих места в енисейской жизни: «Жр-рать-то че-то надо» – так говорят, собираясь поставить сеть или самолов, и «Я ее не ем», с добавкой «Разве токо в охотку» – про красную рыбу. Первое говорится с жизнеутверждающим напором, второе – с оттенком легкого презрения к жирной красной рыбе, годящейся лишь на продажу или обмен, и сюда же примешиваются показное – мол, для кого-то это, может, и осетрина, а для нас – поросятина, и рыбацкое – мол, добываю, объелся.

Так вот, если бы Бесшаглый собрался продавать рыбу, он бы рубанул: «Сдать ее. На хрен она нужна. Я дак ее не ем», а потом обязательно бы проспал пароход и на ехидные вопросы, почему не выезжал, солидно бы отрезал: «Не-э-э. Оста-авил. Жр-рать-то че-то надо!»

Поймав хорошо рыбы, он, не отрадовавшись, начинал переживать, что другие «надыбают место и все вычерпают». Рыбу всегда тушил, лентясь выкопать хороший ледник, а потом за глаза клял бабу с парохода, вернувшую товар: «Обожди-и, косне-е-ется», – умудренно щуря глаз и грозя пальцем.

Рыбий набор перечислял всегда с небрежным оттягом, будто охлаждая слова на медленном ветру и показательно загибая пальцы: «Ок-конь, сорога, ел-лец!» Или: «Чир, муксун, сиг, омоль!» Вне набора называл с закавыкой – презрительно: «Гольный сорожня-ак» или с вялой и вынужденной гордостью и ударяя на «набил»: «Н-но, сиговником набил флягу». Хариуса показывал руками и с двойным набросом длины: «Че-о-орный». Про омуля в начале хода морщился: «Идет, но штуч-чно».

Любил расхожие выражения первого, что ли, порядка, которыми с упоением изъясняются, условно говоря, мелкие бичики в период восторженного приживания на Севере. Например, про казанку на данном уровне следовало сказать, что она «легкая на переверот», а про хорошо слышного по рации товарища – что он «как поднесеный». Уважающие себя мужики таким примитивом не пользовались, а Бесшаглый сыпал напрапалую.

Недалеко ушел и оборотец: «Мне чужого не на-а», особенно любимый нечистыми на руку. Бесшаглый был подвержен этому греху, но «слегонца», то есть слегка, и если снимал с бакенов батареи, старательно расставленные водопутейской бригадой, то придавал этому воспитательный оттенок, словно наказывая бакенщиков («Ни хрена-а, еще привезут») за даровой доступ к добру.

Работать особо не любил. Если вставал вопрос, как рубить угол – в чашку или в охряпку, выпаливал: «Конечно, в охряпку!» да еще придумывал десять преимуществ этой охряпки – прямого запила. Зато обожал телевизор, валялся на диване, набираясь пошлости, поругивая для вида правителей, ведущих и всех на свете, и глотая без остатка и тошнотную подноготную семейных дрызг, и американского покроя игрища на деньги, и повышающие грошевую эрудицию викторины. При словах «лотерея», «выигрыш», «клад» очень оживлялся.

Все лето проремонтировал мотор, так и не наладив и приплетя Батюшку-Анисея, который его на рыбалку «не пускает», бережет, мол, от беды ли, рыбанадзора, но, когда сломался телевизор, проявил поразительную прыть, сначала выцыганив у соседей старый на замену, а потом замучив мастера и заставив управиться с ремонтом за два дня. И вот певица блажила о своей трудной судьбе, о каких-то модных архипелагах или затягивала прилаженные к под-

дельной мелодии настоящие стихи, в которых «я» автора было угодливо перекроено на женскую сторону («Кавказ подо мною, одна в вышине...»), а Семка сочно выпячивал нижнюю губу и цедил: «Малладец».

Имея двух ребятишек, долго не работал, а когда сестра предложила покалымить в К. на ошкурке «турок», презрительно отказался, приплетя Родину, которую «впадлу продавать». При этом, если случалось хапнуть пушинки, обычно невыходной, сдавал иностранцам с парохода, а к вырученным долларам относился с благоговением, держа в специальной коробочке и показывая гостям.

Выражение «легкая на переверот» имеет аналог «тяжелый на отдачу». Семка был чрезвычайно «тяжелым на отдачу», но очень важно, что, давая сам, отдачи не требовал никогда и, в общем, парнем был добрым, покладистым и безобидным. Раз осеновал он у одного охотника и, оказавшись при рации, наконец-то развернулся во всю силу. Вскоре его знал весь район, и далекие охотники с уважением спрашивали:

– Да кто же такой этот Тринадцатый?

Жену его, Галю, Федор не любил. Гладкая, полная и красивая молодая кетка-полукровка с животной уверенностью в правоте каждого жеста. Двигалась, смеялась, говорила с неторопливым достоинством и с тем же достоинством изменяла Семке с кем попало. Была жадна и домовита однобокой домовитостью – все время занимала, не отдавая, растила в магазине астрономический счет и была определенно «легкой на переверот» и одновременно «тяжелой на отдачу». Еще в пору их соседства Федор за чем-то зашел, Бесшаглого не было, и сидели только Галя и Семкина мать, приехавшая из Игарки. Прижимистая и целенаправленно отваживающая посторонних, Галька вдруг показательно заприглашала Федю к столу, с неестественным усердием загремела закусками, и он еле вырвался.

И на этот раз Семка куда-то ушел, сидела у телевизора Галя, копошились ребятишки, и торчал Прапорщик, у которого был с ней роман.

– Нету Ивана. На покосе.

– У кого?

– У Чели.

– Ясно, – сказал Федя, раздосадованный тем, что тот, кого он ищет, оказался в компании с неуловимой страдигвардией и, вероятно, уже вовсю набирался с ней неуловимости. – Передай, пусть зайдет. Работа есть.

Весь день Федор, отдуваясь от мошки, копал траншею для фундамента, а на следующее утра снова пошел к Бесшаглым, обнаружив ту же картину.

– Как на покос уехал, – сыто сказал Прапорщик, – так и не появлялся.

Федор побрел домой, но свернул к «квартире» Прапорщика, где на железной кровати лежал тот, кого он искал.

– Иван! – негромко окликнул Федор. Иван быстро протер глаза и сел. Длинное лицо было в желтоватой щетине, а волосы как жухлая, пережившая не одну осень, солома.

– Так ты Федор? – Вставая, он пошатнулся, ухватившись за косяк, помолчал и сказал: – Я помогу тебе. Все равно делать нечего. – И добавил, словно оправдываясь: – Что-то забичевал я...

– Ты вот чево, поспи, одыбайся, а как отойдешь, подходи... – И Федор добавил другим, на слой ниже, голосом: – Или, может... стопаря?

– Не, не, я уж лучше одыбаюсь пока... А ты где живешь? А. Ну. Зна... Знаю. Рядом с Хрычей.

У него была привычка повторять выражение собеседника, будто возвращая. Говорил он негромко и чуть торопливо повторяя слова, вставляя в разговор как бы с двух, трех попыток, как ступают на не очень твердое или прощупывают дорогу в несколько притрогов ноги.

Прежде всего надо было загрузить две телеги камней и семь телег гравия. Телега стояла, и Федор пошел еще раз напырять Петруху, чтоб тот не забыл подъехать. Возвращаясь, он догнал Ваню. На нем были когда-то черная майка и штаны из крупного темно-зеленого вельвета, на ногах подвернутые болотные сапоги. Шел он прямо, как палка, голову тоже держал прямо, волосы свисали крупными прядями. Из-под рукавов майки торчали худые и очень выпуклые локти.

Камни с грохотом валились в железную телегу. Федор предложил перекурить, и Ваня быстро согласился и сел на камень, с трудом переводя дух и качая головой:

– Работать я умею. Мне только отойти надо. Сказал, помогу тебе. Ну и спирт у нее!

В нем было странное сочетание пожилой потертости и мальчишеской худобы. Между плечами и костлявым тазом было будто пусто, выцветшая майка колыхалась, как на раме, провал живота и талии казался сквозным, а толстое вельветовое отастье штанов под майкой неуклюже увеличивало бедра. Лицо было длинное, с щетинистыми складками вокруг рта, небольшими глазами в красных веках и лбом очень прямым и высоким. Темно-русые космы являли что-то вроде остатков «горшка» с уступом у висков, причем с боков пряди расступались, выпуская большие сухие уши, так что между ухом и щекой свисала нелепая полоса волос.

С первой секунды все было ясно без объяснений – обороты и интонации, сами, разлюблива-сто выражаясь, выметывали из колоды судьбы этот знакомый набор: зона, экспедиция, урывчатая охота с любовью к далекой речке и, продолжая карточную тему, большая-большая «гора», переходящая в пропасть.

Закидав телегу, пошли обедать. Едва сели, раздались крики, топот и матюги. Бежал Страдиварий. Молча застыв в дверях сеней, где его перехватил жующий Федор, он играл желваками и трепетал глазами, а Петька примирительно мямлил:

– Нью-нью. Поняль, поняль. Позне. Поняль, Федя.

Едва те ушли, мелькнуло в окне румяное лицо Бесшаглого.

– Галька послала, – хмыкнул Ваня. – Небось дома убраться некому.

Семка постучал и вошел. В таких случаях требовалось сказать: «Э-э-э! – со старицовой укоризненной растяжкой. – Ну а ты где потерялся? Нетту-нетту, ну, думаем, совсем забыл нас!»

Еще за дверью Семкины глаза были изготовлены для стрельбы по столу, так что, входя, он нес взгляд, как ствол, – чуть вбок, градусов двадцать. Едва поймав цель, глаза расслабленно загуляли по сторонам, и на лице выражение тревожной неизвестности сменилось благодушным покоем.

– Э-э-э! Ну а ты где потерялся? – радостно затащил Семка, изо всех сил косясь куда-то за печку. – Нетту-нетту...

Выпив пару стопок, Семка удовлетворенно ушел, а Ваня, постепенно оживляясь, пропустил еще несколько и было потянулся за следующей, но послушался Федора и пошел в соседнюю комнату спать. Вечером копали траншею под фундамент. На потихший ветер вылетела мошка и тучами лезла в лицо. Угол пришелся на старый дом – сразу под дерном начались кирпичи, тряпки, бутылки, выползла нога от мотора и резиновая голяшка от сапога, которую не удавалось ни вытащить, ни разрубить – лопата пружинисто отскакивала, а потом преградил путь лист железа. Раскапывать и оголять его по всей площади было нельзя, чтобы не испортить траншею. Лист кое-как вытащили, но вскоре косо выступила железная кровать, ее пришлось оставить, очистив от земли.

Весь другой день и половину следующего кидали камни и грузили гравий, потом дорывали траншею. Когда кидали бут, проходили кто с рыбалки, кто откуда мужики:

– Здорово, Федул! Давай хоть камень тебе кину.

Федя стремился после работы пораньше завалиться, чтоб накопить сил на завтра, а Ваня, наоборот, посидев, оживал, подставлял стопарь и на слова: «А как завтра?» с горьким недоумением говорил: «После такой работы еще и не выпить». Больше Федя вопрос не поднимал,

хотя думал, все будет иначе – в духе Бесшаглого, который в таких случаях бодро отпечатывал: «Все! Я пропился, день отдыхаю и иду работать».

Ваня-то, как видно, и рад был пропиться, да не мог, и чем ближе к ночи, тем больше говорил и крепче сидел, покачиваясь и шуря блестящие глаза. «Воп... вообще-то я норму знаю», – бормотал он, а утром еле вставал, тер слежалое лицо, пил воду, умывался, тягуче курил в печку и признавался, что «дал вчера лишака», и этот «лишак» можно было понять как «лешак», потому что было в Ване что-то от хмурого и больного лешего.

Если он перебарщивал с работой, брал на лопату лишака гравия или кидал слишком часто, начинало жечь, давить сердце, и он следил за ним и тонко регулировал спиртом, зная, когда размягчить, а когда, наоборот, выдержать, чтоб совсем на запороть. Так он и прислушивался к себе, просил в нужное время налить, и Федор послушно наливал и тоже следил за ним, справлялся и досадовал, больше на себя.

С утра работалось хорошо, а к вечеру и соображалось ту же, и простое казалось сложным, а день несся, будто стараясь обмануть и, вымотав, стрести к вечеру с непоместившимися делами, и Ваня все чаще садился курить, говоря с паузами: «Все. Выработался... Раньше у меня кликуха знаешь какая была? Трактор».

Свозили цемент на мотороллере, отобрали доски на опалубку, начали заливать траншею. Мошка зверела, особенно к вечеру, и не давала нагнуться, лепя глаза. Бывало, с ночи разъяснивало, и, надеясь на холодок, вставали рано, в пять-шесть, но воздух был теплый, липкий, и не прибитая мошка уже ждала, скопившись в волглom затишке.

У Вани болела спина, и когда перетаскивали чугунную ванну для раствора, он, берясь сзади себя, нес короткими неудобными шажками, а спина так трещала, что однажды он завалился назад в ванну, жалко задрал ноги, и не мог вылезти. Мышц у него было мало, брал жилами, крепко приросшими к суставам. Локти, обернутые сухожилиями, казались особенно большими и бугрились, как нарост на сухой елке. И сухожилия его, и кости, и хрящи казались сделанными из другого, особо плотного, вещества.

Если срубить худенькую, в руку, елочку, растущую на косогоре редколесья, то насчитаешь в ней не меньше трехсот смолево-рыжих, густо сидящих каменных колец. У елки, живущей в достатке, древесина белая, но и в ней, бывает, встречается с какой-нибудь одной бедовой стороны такое уплотнение, называемое кренью, и когда выбирают деревья на лыжи, смотрят, чтобы она не вторглась и не сбила слои. До красноты напитанная смолой крень обычно бывает у навалом стоящего дерева – с верхней стороны. Из кедровой крени делали раньше полозья для нарт. Федин сосед-дед, всегда говоривший с напористым и гулким посылом, словно все время участвуя в суровом и справедливом спектакле, рассказывал: «Затешешь с двух сторон, дашь топором – как соль отлетат!»

Чтоб по-настоящему оценить драгоценный блеск этого «как соль отлетат!», стоит отложить книгу и, закрыв глаза, погонять через себя, помножить на акустику сибирских пространств, приблизить к полному звучанию эти слова, только что подаренные мне походя соседом дядей Гришей, с которым я вышел сверить свои познания о крени. Самое поразительное в таких дедах, что их единственный истинно русский язык не просто живет в них, а что они страдают и переживают, мечтают и радуются – мыслят только им, и личный строй его, как великое чудо, умирает вместе с человеком. Низкий поклон тебе, Григорий Трофимович! Живи долго, не болей, и пусть наши встречи с тобой всегда будут так же наполнены солью (уже без кавычек), как этот разговор о крени, закончившийся словами:

– А ты что, лыжи собрался делать?

– Да нет, рассказ пишу.

Кренева кедрина стоит навалом в распадке между Таннемакитом и горой Делимб. Медленно несут плавную сталь Лена, Енисей и три Тунгуски. Ванины прямые волосы в шершавом цементном налете чуть шевелятся от ветра. На лице мазки раствора, глаза изъедены мош-

кой, в руках штыковая лопата, которой он разрубает в треть плотный мешок цемента. Свежий и стойкий напор ветра стоняет мошку, очищает лицо, но лишь наполовину, и с подветренной стороны щекочущая масса тем плотней и неистовей, чем сильнее ветер. Мазь, которой он намазался, давно смешалась с потом и цементной грязью. Ваня вставляет лопату в непромешанную толщу цемента и гравия, смоченных водой, трет глаз и, пружинисто изгибая еловый черешок о край ванны, наваливается – жилистый, витой, насквозь креновый, не зря жизнь таких и пускает на полоз.

Вечерами Ваня сидел на своем месте у окна, поглядывая на Енисей и, вертя в руках старый брусничный совок, подарок того же деда-соседа, который все пытался нашарить новое в старом и без конца менял форму и длину лыж, гиб самолетных крючков и угол наклона копыльев у нарт. Именно этот совок в порыве поиска он сделал длинным и широким, как ящик, так что совок служил одновременно и легким пестерем. Чтоб при наклоне собранная ягода не высыпалась, там стоял обычный в таких случаях флажок-заслонка. Изготовлен совок был из легких музыкально-гулких еловых дощечек, темно измазанных ягодным соком. Понизу были пущены длинные, до блеска исшорканные проволочины, частая решетка которых на передке пропускалась сквозь реечку и, загибаясь, торчала, как расческа. Через эту расческу и продергивались кустики брусники. Совок лежал под столом у Ваниных ног, и он клал его на колени, как кота, и то постукивал по гулким бортам, то, положив вверх донцем, водил пальцами по проволочинам, и они отзывались и даже обнаруживали некий тусклый строй, будучи разной толщины и натяжки.

Сморенный работой и водкой, Ваня сидел неподвижно, то роняя голову, то поднимая и открывая глаза и глядя ими в такую даль, и так рассеян, что казался почти слепым, и с застывшим выражением неизбежной тоски на изможденном лице вслушивался в свое страдание с такой застарелой напряженностью, какой почти не бывает у зрячих.

Была ночь, в преддверии августа уже густо синевшая. Почему-то выключили дизель, Федор зажег керосиновую лампу, и она освещала странным и мягким светом Ваню, сидящего в пол-оборота. Ваня глядел в никуда, держа на коленях плоский короб совка. Совок лежал кверху проволочной решеткой, он отрешенно перебирал ее струны пальцами, и своими прямыми русыми космами, пустеющими глазами, худым и напряженным лицом, внимающим глухому переливу, пронзительно напоминал слепого лирика или гусяра, вернувшегося из бездонной старины опеть-оплакать нашу глупую пору.

На основную заливку пришли мужики, и заработали руки и спины. Вода, заполняя бегучую ямку, проворным озерцом сновала за лопатой, трудно смачивая пепельную пыль и орехово-грубый гравий, долго и неохотно сочась до дна, пока не сплетались воедино сухие и мокрые слои и масса не начинала ворочаться жирно и облегченно. С дрожью взрывая серую слоистую толщу, гнулись от напряжения черешки, истираясь, махрясь до сизого ворса и плоско истончаясь о края ванны, в конце концов ломаясь с костяным и податливым хряском. И ходила огромной суповой ложкой туда-обратно широкая совковая лопата, метая шершавую жижу в высокий короб опалубки, и туда же, когда пустела ванна, с тяжелыми шлепками падали ядра камней, оседающая, выжимая раствор и распирая стены.

Заливали два дня. В последний вечер в Енисее, отгороженном галечным откосом от деревни, фыркающая и бакланя, плескалась бородатая орава, драила склеенные волосы мылом, и оно бурыми хлопьями расходилось по воде, а у берега по колено в Енисее стоял в ужасающих и длинных трусах Ваня и потирал сердце, а на веселом и шумном празднике сидел, скошенный несколькими стопарями, потом вдруг, еле ворочая языком, заговорил что-то свое, а потом заснул на своем месте у окна, и мужики заботливо и аккуратно унесли его складное тело в комнату. Утром сходили вдвоем к фундаменту, пощупали, потрогали, постукивали молотком, уважительно топыря губу, и, замесив с полмешочка пожиже, «метальнули» неровности. Залили водой ванну, прибрали лопаты.

Никакого особого облегчения Федор не испытывал, потому что до приезда новосибирцев оставалось два дня, и нужно было отпарить в бане Ивана, убраться в доме, прогудронить лодку и сделать еще прорву дел. Да Иван по дороге заикнулся о каком-то предстоящем разговоре, и Федя понял, что предстоит еще и заключительное общение по душам с Ваней, уже с трудом вписывающееся в бессонный график. Прибегал Семка, спрашивал, скоро ли Ваня вернется, и не было никакого сомнения, что вся иссохшая артиллерия Бесшаглых давно пристреляна по Ваниному заработку, который тут же подвергнется массированному удару при огневой поддержке Прапора и фланговых атаках группы Страдивария. И Ваня не сможет отказать, поскольку обязан Бесшаглым за то, что приютили по чьей-то просьбе, и он полтора года жил у них, отрабатывая, готовя, убираясь и кормя вечно голодных ребятишек. А зимой пахал на дровах, отдавая весь заработок Гальке, которая по утрам из кровати давала томную разрядку:

– Ваня, ты постряпай Семе ландориков с собой на работу.

И за свою батрацкую жизнь у Бесшаглых Иван, как сам с горечью обмолвился, даже «носки не заработал».

Федор знал, что деньги Ване нужны позарез: он ждал затянувшегося расчета за клубный фундамент и собирался в Красноярск по каким-то делам. И хотя Федя не верил в решительные действия людей вроде Вани – такие не уезжают, – все же подумывал над вариантом: предложить до отъезда подержать деньги у себя.

Вернувшись, они сели за стол, и, разводя спирт в пивной бутылке, Федор обдумывал, как потактичней обставить расчет с Ваней. Приготовленные деньги лежали в «вихревской» инструкции, а поношенная, но чистая рубаха и носки – на койке.

– На, Иван, – быстро и решительно сказал Федя, протянув деньги, и сразу налил, а Ваня, поморщившись, что-то хотел возразить, но Федор уже поднимал стопарь, и Ваня с досадой мотнул головой, положил деньги рядом с собой на стол и чокнулся с Федором.

Федор налил по второй и встал:

– Ваньк, у тебя рубаха-то есть? Слушай, я тебе рубаху приготовил... возьми...

А Ваня все будто не слышал, молчал, а потом, доведенный до какого-то последнего предела стыда, вдруг отрезал:

– Да ничего у меня нет!

Федор принес рубаху с носками:

– Ваньк, на тебе рубаху, и деньги убери сразу, чтоб не валялись.

– Н х... мне твои деньги! – вдруг взорвался Ваня. – Я сказал, так помогу, за то, что ты... Федька Шелегов. Погоди. Я тебе вот что сказать хотел... У меня дело в Красноярске... Вообще, мне дергать отсюда надо. Ты, Федьк, это, зови Ромку. Там за фундамент деньги должны прийти. До Красноярска сколько стоит доехать? Полторы-две... Вот ты мне и дал две... – Ваня положил руку на деньги. – Короче, зови Ромку, деньги придут, через месяц ли, через два, пусть все тебе отдаст, там четыре, кажется... Зови. Зови Ромку. Семке только ничего...

– Добро, – сказал Ромка и, опрокинув стопарь, зажмурил глаза, потянул носом и быстро кинул в рот рыжий ломтик стерлядки. – Дак ты че, правда ехать надумал?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.